



Сергей Рядченко

Октомерон,  
или  
Охота за чувствами

(novela picaresca)<sup>1</sup>

Одесса  
«Черноморье»  
2019

---

<sup>1</sup> Плутовской роман.





## Предисловие

Люди дорогие!

Хотелось бы прояснить тут несколько аспектов.

Перед нами Первый Порцион большого романа, в котором полагает быть страниц ещё дважды по столько же. Причина издания части незаконченного произведения сводится всецело к озарительному хотению подарить друзьям и соратникам, вошедшим мало-помалу в плотные слои зрелости, возможность поддержать в руках сей текст, а может статься, что и прочесть, не потом, а уже сейчас, пока мы все ещё тут, а не там.

Это раз.

Хронологически «ОКТОМЕРОН» является прямым продолжением романа «УКРОТИТЕЛЬ БАРАНОВ», и оба они вместе с расширенной повестью «ОДЕССА-МАМА, или Проще не бывает» составляют трилогию «ОХОТА ЗА ЧУВСТВАМИ», которая полагает перерасти в пенталогию, присовокупив к себе романы «КОСОВАРОВ» и «БАЛАКЛАВА».

Это два.

Применённая в «Октомероне» откровенность живописаний, пожалуй, представляет из себя и цель, и метод, но никоим образом не исчерпывает объём общего посыла, который, смеем надеяться, целиком вербально не изъяснить. Короче говоря, книга пишется для того, чтобы при помощи изящной словесности попытаться выразить то, что словами не выразить.

Это три.

Кому же приспичит, заглянув меж страниц, бросаться в автора камнями, пускай, коли сам без греха. Ха-ха.

Засим, друзья, в добрый час!

*Сергей Рядченко*



23 декабря, 1991, до полудня.

*Отправлять ли Асклепию петуха? Как распознавать шпионов? Принимать ли новые вызовы?*

Репа уважаемый плавал по молодости вторым помощником на Дальнем Востоке. Кто б его сейчас в таком заподозрил, да? И потому в кресле умел выспаться, как никто другой. Ну, а я на ошкуе. А Дар Событий на люстре под потолком в обществе пробки из-под шампанского.

Сон сморил Самурая задолго до полуночи, и я, погасив торшеры и укрыв его пледом, перебрался к себе за стол под зеленую лампу и долго читал под бой часов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и поглядывал заодно в раскрытый посередке «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка, что должно было недвусмысленно подвести стороннего наблюдателя, случись он, и за кого мог бы сойти, не дрыхни он, Дар Событий, к выводу о том, что я решил выжать из своей теперь уже чисто случайной трезвости, всё, что из неё только можно было выжать, и особенно то, чего из неё выжать было никак нельзя, но очень хотелось. В любом случае такими, на чей-то вкус, возможно, радикальными действиями, я постарался поплотнее заслонить себя от губительных пока, в силу непривычности, излучений новой ситуации, придавившей меня нежданном одиночеством. Ситуации не исполнилось еще и дня, и свирепость её новизны призывала к особой форме внимания к себе и ко всему сущему. Если, конечно, мы имеем в виду выжить и устоять, а не сломаться и рухнуть. А мы имели в виду выжить. А мы имели в

виду не рухнуть. И Лоуренс Стерн с Джоном Локком на пару прямиком из своего восемнадцатого века оказывали мне в тех затеях, кто понимает, внятное содействие.

Я читал почти до утра, и под каждый бой часов наскоро прикидывал растущее расстояние между мной и Санькой с Лидочкой, которых барановский дилижанс с нарисованными тиграми на бортах и с танкистом Жорой за баранкой мчал уже много часов в сторону Барнаула.

Репа разбудил меня в половине восьмого. Он был умыт и причесан и, отказавшись от кофе, истребовал себе минералки.

— А ты уверен, Юг, что ты один в доме?

— В смысле, Макс? Почему один? Вот с тобой. И с бароном, — я обнял бюст боденвердерского фрайхерра из восточного алебастра.

— Да нет, — сказал Репа. — Звуки по ночи. Может, крысы?

— Ага, — сказал я. — И тигры с собаками. Пить меньше надо. А еще часы перед боем конкретно вздыхают. Может, оно?

Репа пожал плечами.

— Да так, — сказал, — к слову.

Я кивнул.

— Ну, мерси тебе, значит, Юг. Гранд мерси за гостеприимство. Давно не принимал с таким удовольствием. Хорош таки коньяк, ничего не скажешь.

— Дать с собой?

— Не борзей. А что, я не весь выпил?

— Вчера весь. А за ночь опять набежало.

Репа расхохотался. А хохот у него был авторитетным, хохот был Шаляпинским, в том его приложе-



нии, где люди гибнут за металл в угождение богу золота, и людская кровь рекой по клинку течёт булата. И редко мне удастся избежать вовлечения себя в удивление по поводу того, что я вот с ним с детства, а как у других менее подготовленных получается при его смехе не наложить в штаны — загадка великая. Потому и случается, что у многих не получается.

— Ну скажи правду, Патрик, алкоголик ты всё-таки или всё-таки придуриваешься?

— Алкоголик, Макс. Можешь не сомневаться. Просто почему-то не пью иногда.

— Вот же ж, — Репа отсмеялся и промакнул салфеткой глаза. — Вот в самом же деле тридцать пять лет тебя знаю, и всегда чудишь. Ну не бывает же у тебя, чтоб без примочек. Да?

— Богема. Что ты хочешь!

Он хлопнул меня по плечу.

— А давай, беллетрист, прославься ты уже наконец.

— Я не против.

— Так этого мало. Надо быть за. Руками обеими и ногами. Клыками и всеми когтями. Пером и шпагой! И баграми с крючьями.

— А я что?

— А ты что? А ты малахольный.

— Ну прям-таки!

— А вот прям-таки!

Он стоял уже на пороге перед распахнутой дверью отсюда, из библиотеки, в тёмный коридор, где часы, всхрапнув, стали бить восемь. Он раздумал, воротился ко вчерашнему застолью и уселся в кресло.

— А я вот, знаешь, все твои книги у Антонины прочел.

— Не знал, — сказал я. — Теперь знаю. А чего свои не читал?

— А вот захотелось Антонининых.

Я засмеялся.

— Потерялись?

— Зачем? Хорошим людям дал почитать. Пусть просвещаются.

— Репа! Да ты мой агент! Вот так и прославлюсь.

— Ни фиги! Эх, Ванька. К славе надо пробиваться, как камикадзе к авианосцу.

— Поэт! — сказал я, выговаривая «о» как «у». — Репа, ты у нас, ни дать, ни взять, человек Ренессанса. Других таких, как ты, больше нет.

Тут я вдруг вспомнил, как вкрутил вчера Баранов нам посадку на палубу авианосца, которая, по его словам, на подлёте меньше ногтя на мизинце, а я ему про первую октаву и стул посередке перед роялем, а он мне про палубу; вспомнил, и стало мне впервые с момента пробуждения снова не по себе.

— Плеснуть «Камю», а?

Репа не ответил.

— Ну почему ты, Ванюха, на ринге мог? А? И там у себя на войне, на всех твоих войнах, тоже, я так понимаю, а то как же? А? Охотник за караванами. А тут пасуешь.

Я пожал плечами.

— Тусоваться надо, брат, как на работу бегать. Это же часть профессии. Неужели не понял?

Я кивнул.

— Да всё ты давно, блин, понял, — сказал Репа. — Просто чванишься. Не снисходишь, да, к выполнению общепринятых ритуалов?

Я кивнул.

— Не снисхожу, Репа. Да. А если, как на духу, то пробовал. Три года в стольном граде пробовал и пробовал. И оказалось что? Не умею. И вкурись, брат, учиться этому уже больше не буду. Баста! Так что отстань.

— А напрасно, — вздохнул Репа. — Для тебя, Ванюха, это теперь уже не блажь. Вот за сорок завалило. Ни при чём тут хочу, не хочу. Неправильно. Это теперь уже вопрос жизни и смерти — стать знаменитым. И уже отпочковаться наконец раз и навсегда от нас, простых добропорядочных бюргеров. Мы тебе не компания. Я тебе больше скажу. Мы тебе дурная компания. Не вырвешься поскорее из нашего обывательства, и, вот увидишь, мы рано или поздно обязательно затащим тебя на скользкую дорожку хулиганства. А там тебе и хана.

Репа расхохотался и хохотал над своей шуткой долго; ну, и я с ним на пару. Знал меня Репа, увы, как облупленного; действительно ведь хана, на коньках я так и не научился. Хотя таскались еще в школе на каток по зиме в парк Шевченко всей ватагой, метрики таскали с собой в залог коньков напрокат; но нам с Гариком, который Георгич, так и не далось то бельканто, в смысле, плавное и достойное скольжение по твёрдой воде; сперва чуть далось, а дальше не поехало; а Васильцу с Урядниковым и Репе, и еще половине двора вполне покатило. Я бросил быстрый взгляд в сторону бесконечной лесенки, ступеньками в которой были неосвоенные мною умения, дабы

убедиться в том, что и сегодня, как и вчера, не страшусь о себе никакой правды, и убедился, и привычно возблагодарил Старого Мальчика из Древнего Китая за то, что с его подачи мне ведомо не понарошку, что человек может осуществить *часть* вещей, и баста. А Репа ничего не забыл. Ай да Репа! Я сказал ему:

— Дорогой Максим Репин, уважаемый Самурай, для меня большая честь быть вашим современником. Вы мудры как Сократ! Плеснуть вам цикуты?

Смешно. Смеёмся. От души. Нам можно, и штаны сухие.

— А ты лукавый, Ванька. Да, брат? Думаешь, накачу и подobreю?

— Хотелось бы верить.

— Ну, а как еще сильнее напущусь? Тогда что?

— Думаю, капитан Дрейк, что потеряем.

Репа привстал из кресла и хлопнул меня по плечу.

— Оказывается, Ванюха, я по тебе соскучился. Кто б мог подумать.

— Не беда. Пройдет.

— Слушай, а сколько я у тебя не был? А?

— Ну, — я пожал плечами, — мы тут четвёртый год. Года три назад заходил. Так, пожалуй.

— Вот житуха, да? — прогудел он смачным басом. — В трех кварталах живем!

— Она самая. А она такая у нас. Центробежная.

Ляпнул и сам же узрел, что а так оно и есть: сутки в полдень исполнятся, как никаких больше «мы тут», сам теперь на хозяйстве, как один на пустой планете. И Репа с его чуйкой звериной врубился ко мне в смятение.

— Перетерпится, — сказал он. — И не из таких, да, Ванюха? передрыг выбирались. Ты ж не наделаешь глупостей, да?

И он протянул мне свою царственную длань, дабы я пожал её. И я пожал. На такой манер я пообещал авторитетному человеку, что глупостей не наделаю.

Репа сладко потянулся в кресле, аж зажмурился.

— А о чем это мы, скажи, Юг, вчера весь день трепались, что ни о чём, я смотрю, не натрепались? А?

— А я тебе скажу, Макс. О друге моём боевом. Об укротителе тигров Ярославе Баранове. Разжег он, понимаешь, в тебе пожар любопытства. А «Камю» жару наподдал.

— Понятно, — сказал Репа. — Нет, ну а в самом деле. Эпизод со всеми заморочками, как ни крути, вышел нетривиальным. Правильно? С какого боку ни глянь. Спору нет. Да и мы с тобой стариной трягнули, да, Юг? Спору нет?

Я отмолчался.

— Ты, конечно, блин, красавец! Со своей пращой. Да в прикиде барона. Ну Мюнхаузен! Ну контуженый! Ну фартовый! Дважды фартовый. И вырубил без промаха, и жмуров нэмá. А большое дело в нашем деле. Фарт не купишь.

— Тебе, Макс, тоже осанны петь?

— Суши весла, Юг. Не надрывайся.

— Не буду. Но скажу. Рефлексы у тебя, Самурай, как были звериными, так и не притупились. Бросок как у кобры!

— Так не пью ж, Патрик. Не курю ж. С пацанами вот в зал наведываюсь. Сто бассейнов проплываю.

Чего им тупиться моим рефлексам. Я их блюду. А они меня. Правильно?

Репа рассмеялся.

— Что ты там плеснуть собирался?

Я встал из кресла и отправился, минуя глобус и герму с бюстом славного фрайхерра, к своему столу, размеры которого значительно превосходят палубу авианосца, какой она видится на подлёте. Я открыл дверцу правой тумбы и достал непечатую бутылку «Камю», ту, что умыкнул вчера явочным порядком со столика под торшерами в противодействие флотскому Репиному навыку выпивать с вечера всё, что непустое, чтобы наутро всё было пустым и не искушало к продолжению.

— Ага! — сказал Репа. — Вот оно как.

— Именно! Суровые будни. А ты, Макс, думал, богема это тебе курорт в Цхалтубо? Ты заблуждался.

— Развлекаешься, Патрик? За мой счет?

— Ну, можно и под таким углом. Пообещал же вот только что сдуру тебе глупостей не натворить. Так что пользуюсь присутствием проверяющего.

— Ванька, да ты в самом деле лукавым заделался. Раньше не замечал.

— Это не лукавство, Макс, смею думать. В аплокиона<sup>2</sup> мёчу, в циники по-здоровому.

---

<sup>2</sup> Аплокион (ἀπλοκίων, истинный пёс) — так называл себя ученик Сократа Антисфен Афинский; от этого слова происходит название основанной им школы — кинизм. Антисфен утверждал, что для достижения блага следует жить «подобно собаке», сочетая в себе: простоту жизни, свободу от обладания лишним, следование собственной природе, презрение к условностям; умение с твердостью отстаивать свой образ жизни, стоять за себя; верность, храбрость, благодарность.

— Неправильно, — сообщил мне Репа авторитетным басом. — Надо сразу волком. Минуя частности. Правильно? Что тебе в той псине! Пускай даже истинной. Собака ж. Не волк!

Как уже сказано, в моей новорожденной ситуации от меня востребован был особый род внимания к себе и ко всему существу, и потому, наверное, я вдруг Репу взял да услышал. Согласитесь, редко бывает.

— А ты знаешь, Макс, я подумаю. Я тебя услышал. И, наверное, ты прав.

— Нечего тут думать, Юг, — сказал Репа. — Только волком. Остальное ерунда.

— Ну, вообще-то я тигром живу. Еще с Гиндукуша.

— Это кто тебе сказал?

— Это я тебе говорю.

Репа впялился в меня своими жёлто-серыми волчьими рентгенами. Не отводить взгляда от его сканирования я за тридцать пять лет все-таки научился.

— А ты знаешь, Юг, может быть, что и не сочинишь. Может быть, что и тигр.

— Уссурийский, — прихвастнул я. — Морозоустойчивый.

— Да хоть бы и бенгальский. Главное, что контуженный.

— Ну, раз так, Самурай, то на хрена нам вся эта зоология? Я просто честный битый фраер. Так говорится?

Эти три внятных слова были почерпнуты мною из потока перестроечных публикаций мемуарных романов про ГУЛАГ. Вот блеснул перед знатоком. А знаток на это среагировал быстро как кобра.

— Ты что, ты кто?! Ты, блин, с дуба рухнул. Тебе, Юг, до честного битого ох как пока неблизко. Надо хоть ходку сделать. А там будет видно. Но лучше не надо. Смотри не ляпни кому-нибудь.

— Добро, Репа, — сказал я. — Не ляпну.

И думаю, что покраснел. Да. Вот вам и весь цинизм на поверку.

— Ну давай уже, — басит Репа хрипло. — Чего вола тянешь!

Я вытащил пробку.

— Сто?

— Пятьдесят.

— Сто пятьдесят?

— Ну тогда сто.

Я налил ему с лёгким сердцем. Шутки шутками, а вышло, что бодря еще дружба, не окочурилась. На такой вот манер нежданно присели вчера после всего к столу позавтракать. Лишний раз убеждает, что ничего нет прекрасней, чем экспромты Создателя.

— Рискуешь, Юг, — сказал Репа, поднимая бокал. — Антонина тебя точно зашибёт.

— Не факт, Максим. Не вижу повода.

Репа пожал плечами, а потом протяжно и вдумчиво, в несколько глотков, принял на себя содержимое бокала до последней капли и сладко зажмурился. И стало тут ясно, что таких бивуаков на его долю давно не выпадало. Он вкусно выдохнул.

— А что, Ванюха, нужно принести петуха в жертву Асклепию, а?<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Критон, нужно принести петуха в жертву Асклепию — это последние слова Сократа перед уходом из жизни, тайный смысл которых до сих пор не разгадан. Одни утверждают, будто великий философ хотел подчеркнуть, что смерть тела — это



Эх, ма! Много вы знаете таких гангстеров, которые б знали назубок последние после выпитой цикуты слова Сократа, а? Да еще б, надо понимать, вполне понимали, что они на самом деле значат. Много? Я вот одного, и другого не будет. Да и этого скоро не станет. Таким, как он, хотя таких, как он, больше нет, и ему подобным, пережить отстрелы девяностых просто не суждено; но сейчас об этом можно не думать, потому как, Слава Богу, нам не дано предугадать. Хвала Творцу с Его обиходами!

— Что, дядя? Выздоровление?

— Тотальное.

— Христосик босичком по жилкам?

— И по капиллярчикам.

Репа разжмурился, и в его волчьи глаза, надо полагать, скачком прибыло резкости, потому как воскликнул: — О! Вот их и прочёл! — и взял с угла столика обе книги, «Полигон» и «Ловушку для Цэдэнбала», а они тут лежали с позавчерашнего вечера, когда мы с Барановым пожаловали из кухни сюда ко мне в кабинет, в эту огромную и любимую мою комнату с библиотекой и люстрой и шкурой ошкуя на паркете в углу под полками, пожаловали, дабы лицезреть бюст Мюнхгаузена из восточного алебастра и фото надгробия славного фрайхерра над склепом в пустом храме покинутого монастыря в

---

выздоровление души; другие, что смерть — выздоровление от болезни, называемой жизнью; третьи называли их просто дерзостью. Петуха обычно приносили в жертву богу медицины за выздоровление. Возможно, великий философ хотел отблагодарить Асклепия за исцеление души от злобного гнева за учинённую с ним несправедливость, от ненависти к своим обидчикам?

Кемнаде в Боденвердере, разглядывая которое всяк может убедиться в том, какова ж на самом деле правильная последовательность имен барона, а именно Иероним Карл Фридрих, а никак не наоборот; и пристыженный Баранов признал с присущим ему достоинством свое поражение и после уместной паузы истребовал себе в качестве компенсации мои книги с полки и долго листал их, восстанавливая душевный баланс, и зачитывал мне из них навскидку фразы и отрывки.

— А где, Ваня, третья? — спросил Репа, листая «Полигон под Мударецком». — Погоди, сейчас скажу. «Время бриться», правильно? Видишь, не баки тебе забиваю. Читал. Так чего её тут нету?

— Баранов увез. Вместе с женой.

— Ага, — сказал Репа. — С женой и сыном. Не беда. Ты новую напишешь. Правда же?

Он рассмеялся. Ему искренне нравились его грубоватые шутки без капли жалости к себе и другим. Так было с детства. А Репа был на пару лет старше меня с Гариками и Серегой и привил и нам вкус к такому юмору. Я тоже рассмеялся.

— Мне вот фонарик достался, — сказал я. — Лидка забыла его подарок.

— Фонарик? Покажи. Ну, пойдёт для начала. От него и попляшем.

Он снова расхохотался. Коньяк второго дня поутру натошак это вам не то, что вчера.

— А вот послушай, беллетрист, как люди пишут! — Репа взмахнул «Полигоном» с красным зигзагом молнии на обложке и проворно нашел страницу. — Вот, — он прокашлялся и прочёл не хуже Левитана. — *«Майор был не тем человеком, кого можно запро-*

*сто представить себе в постели. Не мог Синицин вообразить его себе ни в постели, ни на пляже в плавках. Всех Валерий Синицин знакомых своих мог, а майора нет. Голый номер! Воображение пробуксовывало, и свечи гасли. А экран не загорался; и только свист в темноте и протяжное «сапожник!» кино-механику; но ничего не остаётся, как только покинуть зал и потом всю жизнь требовать возврата денег за билет. Майор влетал нам в копеечку.» Ну как? А? Это гениально! Ну, разве что два «только» по соседству не фонтан. Но всё равно. И тут всё такое. Читал?*

— Кажется, да. Может быть. Давно когда-то.

— А ты, братишка, перечитай. И скажу тебе, как другу, по секрету, это ты, Юг, наваял. Сам-один-на-один. Так что не завидуй, брат, а порадуйся.

Репа хохотал с минуту, а я подсмеивался. Он и «Ловушку» пролистал, спросил, почему для Цэдэнбала.

— Нет, Юг, ты не подумай. Я не это. Юмор понятен. Но хотелось бы услышать от автора.

— Пардон, Макс. Терпеть не могу пояснять свои опусы. Ну правда! Ты Антонину расспроси. Она тут спец.

Репа потянул еще пятьдесят и зажевал их капусточкой.

— Ехай ты, Ванька, отсюда в стольный град. А? Женись там. И там обитай. В гуще толкотни вокруг кормушки. А сюда в гости. А?

— Мне в мае в кругосветку на «Балаклаве».

Репа присвистнул.

— Неймётся?

— А тебе ймётся?

— Ну так до мая, Юг, куча времени. И жениться в Москве. И прославиться.

— Ну так до мая, Репа, мы шкуруим-драим и рангоут оправляем.

Он кивнул. Он вздохнул. Он подставил бокал.

— Ну, давай. Бог любит Троицу.

Он так аппетитно хрустел капустой, так ловко хватал её крепкой щепотью, как заправский киргиз свой плов, и с таким проворством отправлял себе в рот, что передо мной промелькнуло с десяток дежавю разнокалиберного свойства, и я решил, что вечером, пожалуй, надо будет выпить; пускай и мне «Камю» от Барановских щедрот по жилкам пробежится. И, разумеется, уточнил, что будет вечер, и будет видно.

— Ну и чего ж ты всё-таки не бухнешь? А, Патрик? Не расскажешь?

— Ну, вообще-то, Макс, принцип такой блюду, когда получается.

— Да? И, позволь, какой же?

— Да простой. Не бухать, когда скверно.

— Да? А скверно?

— Ну, бывало и похуже. Разве нет? Сам видел. Вышло как вышло.

— Да уж, — сказал Репа. — Вошло и вышло, — он рассмеялся, разумеется, басом и, разумеется, таким, какой «Камю» сдобрил не хуже самого Асклепия, которому петуха, кстати, так пока и не занесли. — С проворотом вышло. Что там Лидочка вчера? Колесо Фортуны, да?

Не хочу никого расстраивать, но вынужден заметить, что уважаемый Репа прочёл у меня все книги Кастанеды, и понимаете, что прочел он их по-

английски, потому что на русском только вот в новом году начнут издавать; он бы мог прочесть их, случись у меня, и на немецком, но не случилось, потому что я бы прочесть их на немецком не мог. Два языка Репа освоил давно и прочно еще в Вышке и плавая штурманом на Дальнем; теперь вот третьим баловался, и не поверите, а китайским. Повторю, что друг нашего детства Максим Репин, сорок седьмого года рождения, был по всему человеком Ренессанса, а про род его занятий к моменту нашего рассказа всяк волен составлять себе свое особое мнение, памятуя, что что бы да как бы, а нетривиальность сего господина сомнению не подлежит. А в строку к моим суждениям Репа тут речёт влажным басом:

— Вишь ты! Колесо Фортуны... А что думаешь, Ванька, доедет то колесо, если б случилось, в Барнаул, или не доедет?

— В Барнаул доедет, — отвечает ему другой, то бишь, слуга ваш покорный.

— А в Свердловск-то, я думаю, не доедет?

— В Свердловск не доедет.<sup>4</sup>

Вот и поговорили. И улыбнулись.

— А далеченько тудой, — басит Репа.

— В Барнаул? Четыре тыщи и еще пятьсот. Километров.

---

<sup>4</sup> Аллюзия на зачинный абзац поэмы Гоголя «Мертвые души» — «...только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу... «Вишь ты», сказал один другому, «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» — «Доедет», отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», отвечал другой. — Этим разговор и кончился.»

— Правильно. Это по зиме на их дредноуте суток четверо, никак не меньше. Да, Ванька, Лидочку с глаз долой ты конкретно. Не то, что Антонину тут, да?

— Там комфорт, — сказал я, — на дредноуте том, Макс, в два этажа, как в аэробусе. Отоспятся.

— Нет, ну правда здорово у тебя, Юг, выходит своих жён по друзьям распихивать. Да с детками.

— Повторяетесь, дядя. Закусывай.

— О! А это у нас как понимать? — он наконец узрел среди портретов у меня разных героев на одной из книжных полок тот самый портрет, подал себя из кресла, прошагал полбиблиотеки и, потянувшись, взял его. — Неужели я? — спросил он лукаво. — Равняешься на лучших?

— Смотри, Макс, на какую резкость тебя пробило! Фокус навёлся? Как в перископе! Ты б занёс, не тяни, петуха, куда следует.

Портрет был, разумеется, не его, а японского баса из квартета «Royal Knights», который много лет назад спел нам про двух девчонок на палубе по Ангаре.

— Да, Ванька, — сказал Репа. — Сходство, спору нет, просто ну зашибись.

— Так и бас же еще, Репа. А не хухры-мухры.

Ходить бы, конечно, Максиму Репину в авторитетах, с его лица не общим выраженьем, никем иным, а точно Самураем; но не сложилось, и шагнул он в историю Репой; и только в своей прежней компании из таких, как мы с Гариками и Серёгой, бывает, хаживает, когда нам не лень, в самураях. В начале года рядом с этим портретом стоял еще и Майкл Йорк в берете Тибальта от

Франко Дзеффирелли, стоял по причине уже сходства со слугой покорным вашим, но подарен был от души Нинке Смолихиной по её же просьбе.

— Забираю? — сказал Репа.

— Бери.

Всё у меня в жизни пучками; вот затеялись все еще 21-го пожимать плечами, и так ими все и пожимали, аж пока вчера не уехали. Или вот дорки-наподорки; Нинке, значит, выпал Йорк в берете, Баранову «Время бриться» и фото надгробия Иеронима Карла Фридриха фрайхерра фон Мюнхгаузена над склепом в Боденвердере, Лидочке фонарик от Баранова, но она его забыла с собой, а Репе вот теперь, стало быть, портрет японского баса из «Royal Nights». Кстати, вот он, пока Репа не уволок.



— О! А это, Ванюха, у тебя кто? Тоже я?

Он разглядел и остальных моих самураев. И, потянувшись, снял с полки крупный план одного из них.

— Ну а что, нет? Тоже ты.

Ну посудите.



— Забираю?

— Забирай.

Так он получил себе пучком еще себя одного.

— Ну так я, Ванька, и тех забираю. Правильно?

— Обойдешься.

— Неправильно.

— Правильно. Здесь поживут.

Репа вздохнул, но дальше спорить не стал, а вернулся в кресло с двумя портретами. Водилось это за ним, любовь к собирательству.

— Хороши, — сказал он, разглядывая свои обновки. — Хорош! — И спросил меня: — Эстетствуешь на досуге?

Я кивнул.

— И орехи фотографирую.

— Орехи? Что ты имеешь в виду?

— Долго рассказывать. Давай не сегодня.

Репа кивнул. Он посмотрел на бутылку, на свой бокал, на меня, а я не предложил, а он подсказать мне не захотел.



— Ну, всё, — сказал он. — По ко́ням. Можешь не провожать. Я в порядке.

— Не могу. Обещал из рук в руки.

— А-а. Ну давай, зарабатывай очки, друг семейства.

Я завернул ему оба портрета в три газеты и перетянул бечевкой крест-накрест.

— Мерси, Юг. Премного благодарен.

Мы вышли в тёмный коридор, и Репа прошествовал в прихожую, где горел свет, и стал там напяливать на себя кашемировую шинелку до пят, а я задержался в темноте у тумбочки с телефоном и набрал номер, крутанув шесть раз диск наощупь. Напольные дедовы часы, всхрапнув тут же в темноте, стали бить девять.

— Мы выходим, — сказал я в трубку Антонине. — У нас полный ажур.

— Любо-дорого, — сказала Антонина. — Никуда не сворачивайте.

И мы, спустившись по лестнице восемь гулких пролётов, вышли с Репой из парадного подъезда на крыльцо в густой влажный снегопад и ступили в сугроб, положив с правой ноги начало путешествию в три квартала.

— Старых дворников больше нет, — констатировал Репа.

А у меня рассказ такой был «Старых кораблей больше нет», где в начале мы, возвращаясь с Кинбурнской косы, разминулись на Очаковской «Ракете» с выходящим из нашего порта мимо маяка в свой последний рейс «Адмиралом Нахимовым», и Репа, оказалось, его помнил, и дальше мы топали молча, и каждый думал о своём. На подходе к

площади возле Дюка, где они обитали с Антониной и моим Олежкой, Репа нарушил молчание.

— Ты поглядывай, Юг, да? не зевай. Мы ж не можем быть уверены, куда твой укротитель подевал тех бóрзых. А сам как думаешь?

— Закопал или нет? Ну, не знаю. Не люблю так гадать.

— Никто не любит.

— Думаю, Макс, скорее запропастили они их, нежмуров тех, куда-нибудь в Тмутаракань спички делать.

— Ну, допускаю, — сказал Репа. — Кстати, Юг, а кто они?

— Опять за своё! Дядя, да ты меня сто раз вчера об этом спросил. Отвечаю в сто первый. Понятия не имею.

— А думаешь как?

— А ты как думаешь?

— Неправильно ко мне. Ты меня, Ванька, вписал, а не я тебя. И это твой кореш, а не мой. Вот тебе и думать.

— А думаю я так, что нам с тобой, Репа, никакой разницы. Даже если это инопланетяне.

— Тебе, Юг, может, и никакой. А мне какая. Ладно. Учитывай, друг любезный, впредь этот фактор. Ладно? Могут объявиться. Не к месту. И не ко времени.

— Добро, Макс. Я учту. И еще раз спасибо, что вписался.

— А вот это, Юг, барон фон, мы вчера закрыли. Больше не поднимай.

Антонина распахнула дверь и впервые с тех пор, что они вместе, пригласила меня через порог. Олежка

был в школе; я попил чай с тостами и джемом и откланялся.

На обратном пути снежок задувал в лицо, а навстречу не попало ни души. Понедельник, десять утра, центр города. Мелькнула вероятность, что это уже параллельный мир, а не тот, в котором я жил раньше и по которому провожал Репу к Антонине. Но додумывать это я, взвесив за и против, отложил на потом. И на место квантовых соображений пришло соображение попроще; я прочувствовал, что шагнул вчера опять в новую жизнь, и ничего мне в ней заново не понятно, и знаю я теперь снова, что ничего не знаю. Я решил отпраздновать это вот как: забраться поскорей в горячую ванну, а потом хорошенько выспаться.

Я отпер дверь и застыл на пороге. В прихожей горел свет. А я ни секунды не сомневался, что под уход с Репой погасил его собственноручно. Сверкнуло отчаянное предположение, что воротились Лидочка с Санькой, или даже, еще лучше, один Санька — передумал по дороге, уразумел, пятилетний, что жить надо с папой в Одессе у моря, а не с мамой в Барнауле среди тигров и укротителей. Сверкнуло и погасло. Я учуял в доме чужое присутствие. И застучала кровь в ушах. И затарахтели в голове наперегонки позавчерашние прогнозы Баранова про итальянскую мафию и про месть мне от напуганного Америго, и недавнее напутствие Репы, мол, поглядывать, не зевать, а то, чем чёрт не шутит, возьмут да объявятся; и ощутил я себя враз безоружным до одури, как когда-то давным-давно в тайге на Мульмугакане при встрече со зверем, а в руках не было и палки; вот тогда страху натерпелся;

и с тех пор норовил не ходить в мир с голыми руками. Обычно при мне в кармане круглая палочка от мороженого сантиметров пятнадцать, а то и две, на всяк про всяк, и владею я этими деревяшками, без ложной скромности, не хуже, чем кто-нибудь финкой или стилетом. Не был и сейчас я с голыми руками, потому как в кармане куртки сыскался, не запыхался, гвоздь-двадцатка, воткнутый остриём в пробку от каберне. Я перевел дух. Я шагнул в прихожую и притворил дверь. Я унял набат в ушах и стал тигром-охотником. Вообще надо понимать, что контузия и пуля над левым коленом не единственные соковыща, выпавшие на мою долю в моих приключениях. Обладаю еще вот какой драгоценностью: перед лицом опасности проникаюсь хладнокровием с прагматичностью, какими, в прочих ситуациях, увы, не располагаю. И различил я звук наконец, а потом звуки, и вспомнил Репин вопрос поутру: «А ты уверен, что ты один в доме?», и не сразу, но распознал их, звуки те, источник их и значение: у меня на кухне мылась посуда. Кто-то у меня на кухне мыл, не таясь, мою посуду. Первой мыслью было, что Нинка, каким-то чудом прознав про отъезд Лидочки и какими-то неправдами раздобыв себе ключ, ключи, от входной двери на трех запорах, примчалась спасать меня и заботиться. Но эту мысль, не скажу, что сладкую, но, скажу, непротивную, пришлось отставить. Потому что а кто, скажи, тут у нас охотник за караванами, кто унюхивал их за километры собственным носом? Не вы же, а вот он я. И нос мой просигналил мне недвусмысленно о том, что кто у меня на кухне орудует, я понятия не имею. Вот она.

Новая жизнь. Ничего не ведомо. Так неведомо, что аж весело. Аж свобода нам в том незнании.

Я стащил с гвоздя пробку и с нею в кармане и с гвоздём в руке двинулся бесшумно по длинному под тусклой лампочкой коридору к себе на кухню. И думал, что готов ко всему. И думать так, верьте мне, надо было. Когда же в метре уже от незакрытой двери, раздался тут голос:

— Я свет зажгла в прихожей, чтоб всё же не напугать. При всём уважении.

Я застыл в полушаге от шага в кухню. Вот оно смиренное продвижение от незнания к знанию. И что ты узнал? А узнал я вот что. Голос у существа на кухне женский. Это раз. А два — в этой жизни этот голос я слышу впервые. И перепутать просто невозможно. Потому что тембр прозвучал только что такого свойства, что не похож вдруг ни на один из всех, каким доводилось прежде достигать моего слуха. А женский ли? Понадеемся.

Я собрался с духом и заглянул за дверной косяк. И там над мойкой, в плеске и звяканье, спиной ко мне, намывала тарелки и бокалы, и ножи с вилками, она, высокая и тугая, в джинсах и белой блузке с закатанными рукавами; ее волосы, цветом и блеском подстать шкуре на пантере, собраны повыше затылка в густой конский хвост, а-ля хвостатая пальмочка. Неужели Дороти?! Нет. Она повернулась ко мне и оказалась той, кого за миг до разворота я уже почти предположил — балаганной, пантеркой из Балагана, одной из, однако ж той самой, что потрепала столь нежданно меня давеча по темечку прежде, чем оставить нас с Барановым вдвоем на этой самой кухне; и было это поздним вечером 21-го, а сейчас

23-е, и полудня еще нет, а кажется, что между тем и этим протянулся дальний космический перелет в анабиозе.

Я шагнул в кухню и уставился пантере в глаза, как умею давно и прочно, и не только с подачи Репы; хватало учителей. Не отводя взгляда, я достал пробку, вставил в нее гвоздь и вернул в карман, снял куртку и бросил на спинку стула.

— Здравствуйте, — сказала она весело без улыбки, и тембр действительно был сногшибательным, а вернее проникающим до хребта и пробирающим от макушки до пяток. — Я Багира.

— Да это ясно. А звать тебя как?

Она вздохнула, но без досады, а скорее по-спортивному.

— Меня зовут Багира. Багира Фаллалеева.

— Во как. И паспорт покажешь?

Она сняла с себя мой фартук и повесила где взяла. Она достала из джинсов, из заднего кармана, и протянула мне паспорт; красный, с золотым гербом и большими буквами СССР. Скажут, конечно, что я параноик, но я давно с этим смирился, и моя паранойя мне не мешает, а даже наоборот, и потому я первым делом раскрыл документ посередке и убедился, что от скрепок на бумаге видна ржавчина. А дело в том, что враги готовят себе наши паспорта на скрепках из нержавеющей стали и попадают на этом пачками, как скумбрия на самодур; скумбрия давно не ловится, а они продолжают. У меня рассказ есть, где их шпион убеждает их руководство отставить в сторону англо-саксонское чванство и скреплять их липу наконец ржавыми скрепками, а ему растолковывают, что они б и рады, не дураки же, но им просто

негде раздобыть у себя сталь такого дрянного качества, как у Советов. Смешно?

— Ну хоть не шпионка, — сказал я. — Уже хорошо.

Она стояла передо мной без суеты, высокая, вот как она стояла; опустив вдоль тела руки, смуглые руки из-под белых закатанных рукавов, и руки ей не мешали; а мы же знаем, обучены, что руки на любой сцене всегда мешают, их чем-то занять надобно; а ей вот и незанятыми они были не помехой. И смотрела она на меня и в глаза мне, как ни одна еще женщина ни в глаза мне, ни на меня никогда не смотрела. Не думаю, что я рад был. Вихрь закручивался без спроса вокруг меня. Ну а в паспорте значилось, что она и в самом деле Багира Фаллалеева, Багира Анзоровна, шестьдесят пятого года рождения, тридцатого июня, русская.

— Русская?

— Ну да. Посудите сами. Папа татарин, мама алтайка. А я русская. Вы согласны?

— Да, — я кивнул. — Абсолютно.

Она улыбнулась без улыбки.

— А по бабушкам, по обеим, так я, прѳшу пана, щыра украинка.

— Розумієшь українську мову?

— Ще й як. Розумію, розмовляю та й думки гадаю, колы треба.

— Зашибись!

Прописка у неѳ была, угадайте, правильно — город Благовещенск, улица Артиллерийская. Я вернул ей этот дубликат бесценного груза и попытался всё-таки разозлиться, но вместо этого почему-то вдруг успокоился. Можно было, конечно,

попробовать и на то посерчать, но как-то не захотелось.

— И?

Багира Фаллалеева, а это, друзья, была, как мы теперь знаем, именно она, а никакая не итальянская мафия, ха-ха, посмотрела мне в глаза еще иначе, отчего мне тут же вспомнилась грубоватая хохма Баранова в вечеру 21-го про воротник и ширинку; да, посмотрела.

— Я прошу у вас аудиенции, господин Южанин. Я знаю, Иван Александрович, вы не откажете. Мне нужно полчаса.

И стало мне тут невесело, потому как понял, что не шутит, но и весело вместе с тем, потому как занятно ж выходит, не по-скучному.

— Ты это, Багира Анзоровна, я так понимаю, всерьез всё городишь? Правильно? Не понарошку? Нет?

— Зачем меня спрашиваете? Сами составьте себе мнение. Вас же не проведешь. Как и Ярослава. Не перехитришь. Согласны?

Ой, ля-ля. Куда это я угодил? К себе ли? Может, дверь попугал?

— Обдурить, полагаю, Багира Анзоровна, можно практически любого. Потому как, слыхала наверное, что на всякого мудреца довольно его простецкости. А у англичан и того доходчивей. Всяк мудрец у себя в рукаве дурака запрятал.

— А я знаю.

— Что, знаю?

— Every wise man has a fool in his sleeve.

Ой, ля-ля.



— Ладно. Считай, что аудиенция у тебя в кармане.

— Как у мудреца дурак в рукаве?

— Ну, сейчас поглядим. Как что у кого. Только я не выспался. Пойду умоюсь.

— Сварить кофе?

— А ты умеешь?

— Так сейчас поглядим. Сами скажете.

Я забрал куртку и вернулся в прихожую. Стащил наконец сапоги и посмотрелся в зеркало. М-да. По дороге в ванную мне навстречу попалась кверху попой в джинсах Багира Анзоровна с тряпкой по моим мокрым следам из кухни по коридору.

— Здравствуйте, — сказал я. — Утро доброе.

И она ответила, не разгибаясь:

— Доброе утро, Иван Александрович.

Я умылся и долго чистил зубы, вспоминая, как персонаж у Хэма поутру пытался зубной щеткой очистить себя от ночного борделя. Потом я сел на край ванны и еще долго думал, не меньше минуты. И решил, как и наемни с Барановым, не терзать себя впредь никакой экзальтацией, в том смысле, что не дивиться через край дивам дивным и не ломать себе башку над всем подряд без разбору, да и вообще не ломать, а вместо этого слиться вместе с потоком неотъемлемой его капель; и это всё затем, чтобы не болтаться, друзья, куском говна в проруби. Оно, друзья, того стбит.

Из кухни, как из Африки, потянуло жарким ароматом.

Ну, поехали.

Над туркой на плите возвышался, колышась и оседая, сверкучий каймак.

— Вам налить?

— Семь минут прошло?

Она покачала головой и кивнула, что поняла. Я достал из ящичка серебряную ложку с вензелями в завитках на ручке «И» и «Ю», подарок к моему рождению в сорок девятом от писательской четы Марчуков, приятелей по Львову папы с мамой; я положил ложку на турку поверх каймака. Багира кивнула. И тут только — минус мне как охотнику — узрел свитер Баранова на спинке стула.

— Ха! Забыли всё-таки. Или это мне твой босс на согрев? По зиме да в одиночестве. Если ты не справишься.

Она снова посмотрела мне в глаза тем, иным, взглядом; и было в нём столько простора непостижимого, что легче сказать, а чего там не было; а не было там страха, и обиды не было, ни претензий, ни огорчений. Странный взгляд. Не встречал. Не приходилось. Она поставила на стол чашки в блюдцах и сняла с турки ложку.

— Вам сахар?

Я выбрал ответ погрубей, но без хамства.

— Не борзей, казачок!

И она рассмеялась легко и весело. Клянусь, чуть не вздрогнул. Так-то вот — от улыбок без улыбок, от мимолетных перемен в чертах лица, что почему-то пока никак не разглядеть, от этого сразу, минуя пару октав с фиоритурами, сразу в смех да еще и веселый, да еще и в том тембре, что пробирает аж до самых причин. Так-то, Южанин. Что ты там? Отважен в бою, с тобой сладу нет? Стерна с Локком читаешь запросто?

— Присаживайся.

Она села на вчерашний Лидочкин стул, а я напротив, под форточкой; только стул мне опять, как вчера, пришлось поменять, потому что, как и вчера, снежка понасыпало. И вот мы за столом, а между нами на сверкающей клеенке с меандрами две чашки с жарким кофе и чистая пепельница, а сбоку у стола мокрый стул с Барановским свитером на спинке.

— Ленин всегда с нами! — сказал я, кивнув на свитер. — Давай так, Багира Анзоровна. Я сразу скажу, а потом, может, и аудиенции не понадобится. Сэкономим время.

— А я знаю.

— Опять? Что, знаю?

— Знаю, что вы скажете.

— Да ну? Интересно.

— Можно?

— Валяй.

Она вздохнула вполне по-человечески.

— Вы сейчас скажете, что если это ваш друг меня вам подсунул в утешение, то, — она секунду подумала, — то лететь мне отсюда без поджопника дальше чем вижу. Правильно?

Вот вы бы как на моем месте? Правильно. Я закурил «Яву» из твердой пачки, затянулся и долго выпускал изо рта и ноздрей густой сладкий дымок.

— Кофе нормальный, — сказал я.

— Первое очко?

Я затянулся.

— А оно тебе надо?

— Так в том-то всё и дело, что да! Очень надо! Так надо, что вы представить себе не можете.

— Ну, положим, Багира Анзоровна, представить себе я могу такое, что ты себе и представить не можешь.

Она рассмеялась. И опять чисто, опять весело.

— Вы мне скажите, когда мои полчаса пойдут.

— Так уже тикают. А о чём нам еще, собственно!

Она набрала воздух, но я помогать ей не собирался и потому перебил.

— Ну, разве что, памятуя, что был когда-то воспитан и вышколен, могу предложить для затравки разговор о погоде. Как тебе наш снежок? Не задувает за шиворот?

— Пока нет. Не задувает.

Она посмотрела мне в глаза, а я затаился и подумал не к месту, что до Нового года еще целая неделя, и прожить её надо как-то так, чтобы не было потом мучительно больно, а как раз так, чтобы не было потом и не больно, и не мучительно. Очень надо. Ну позарез.

— Вы можете быть уверены, — сказала она. — Я сейчас вам выложу, а дальше, как скажете. Встану и выйду. И не вспомните никогда.

— Заманчиво. А подписку дашь?

— Могу.

За окном дунуло, и на меня из форточки полетел снежок крупными хлопьями.

— А вы специально под снег устроились?

— А ты как думаешь?

— Моцион?

Я кивнул. Она спросила:

— Я могу приступить?

— Не вижу препятствий.

Она набрала воздух. Она его выдохнула и усмехнулась. Да, усмешка тронула её губы. А они у неё были пухлыми, были алыми и тугими, как вся она; они у неё были очаровательными. Не улыбка, конечно, еще, но уже кое-что.

— Ну вот, — сказала. — Всё, что заготовила, улетучилось.

И тут я понял, кого она мне в просверках напоминает. И это был я собственной персоной. Ну дела! Впервые допустил, что эта девушка из Балагана честна с собой и с миром на мой особый манер, то бишь, по-честному; как никто другой из тех, кто рядом. Ну и денёк, ну и денёчки. Поваяло на меня бедой, или даром небесным; ветерок в преддверии и той и другого, бывает, спутать нетрудно.

— Нервишки?

— Они самые.

— Волнуешься?

— Как никогда в жизни. Верите?

— А я решил, их нет у тебя.

— Нервов? А они у меня есть. Представляете?

— Замкнутый круг, — сказал я. — Они у тебя есть, и потому возникло то, что возникло, некое, скажем, чувство, о котором обязательно и всенепременно надо мне рассказать, чтобы я узнал. Но эти же самые нервы не дают нам этого сделать. И как же быть? Пора домой?

— Ну, смею думать, не так все печально. Я всё же, позвольте, попробую.

— Своими словами?

Она рассмеялась.

— Да, точно! Своими словами.

— А хочешь, я тебе помогу?

— Это как?

— Ну как? Изложу тебе свою версию твоей заготовки, а ты подправишь. А то и не придётся.

— Вот это да! — сказала Багира. — А чего я ждала, да? А время как считать будем? Аудиенция ж.

— Пока я говорю, а не ты, секундомеру стоп. Так годится?

— Щедро! Тогда давайте. А так еще страшнее.

— Ну да, смелая ты наша, жить страшно. Зато весело.

И в подтверждение этого своего посыла я, закурив новую «Яву», поведал кратко своей гостье о том, как она еще в цирке 21-го, увидев меня с Санькой в гостях у Баранова, обратила на меня внимание, скажем, в большем объеме, чем для обычного незнакомца, а потом, шастая там среди прочих пантерок, мальвинок и коломбинок и возясь со славным патефоном или еще с чем-нибудь там в балаганном обиходе, подслушала невольно обрывки нашей с Барановым беседы, а та была сжатой до почти что одних только, безо всего, протонов в напёрстке, что паровоз перевесят, как и положено беседе двух боевых друзей после долгой разлуки, и подслушав это, она, багирочка, обратила на меня внимание еще раз, а, может быть, и еще раз, и я *показался* ей, так *показался*, как никто никогда не показывался, ни один самец в разгар сезона, ни один мужчина во цвете лет, а потом уже тут, у меня в гостях, она, Багира Фаллалеева, под героические рассказы обо мне моего боевого, а её близкого, друга и наставника, укротителя тигров Ярослава Баранова, разглядела под люстрой в застолье весь антураж и пробила в два-три присеста общую диспозицию, и

тут в ней дощёлкуло, и она втрескалась в меня так, как никогда ни в кого не втрескивалась, и её повлекло ко мне, как никогда ни к кому еще не влекло, неодолимо, со всеми потрохами, потому что в лучах моей харизмы, под воздействием моей Тибальтовой, глаз не отвести, наружности и тигриной сноровки, и точных, в юморе, слов, взвешенных на прокуренном баритоне, под воздействием такой совокупности всё, что было у неё прежде, и все, кто был с ней до этого, пожухли и пустились трухой по ветру; вот только один, как ему положено, Баранов и устоял, один только и выдержал сравнение со мною; но повлекло уже Багиру не к нему, а ко мне от него, и повлекло, повторим, неодолимо; а тут еще и, как по заказу, посуду мыть в ночи выпало, когда уже братский люд Балагана сошел почти весь на ночлег в автобус; и тут мы, пожалуй, на свой страх и риск, уже не невольню, а по воле своей подслушаем, сколько сможет, из тёмного, опять же, как по заказу, где ни зги, коридора, долгую, многоходовую беседу двух титанов в библиотеке под торшерами и почерпнём из той, ночь напролет, беседы столько всякого, что никакая энциклопедия не сравнится; только что же с тем, что почерпнуто, теперь поделать, а? всё равно ж из него ну никак себе счастья не выкрутишь, ну куда? и как быть? жизнь же больше не жизнь уже без этого Ваньки Южанина; облом, обвал, утрата смыслов; но! подглядела ж, глазастая, искру влажную в глазу у Баранова, когда он тот глаз в застолье кладет на Лидочку, а умнящая ж, а близка ж с Барановым, была или есть, без разницы — чуйка не обманет; и вот *помечталось* тогда, думаю, Багира, Багире нашей, и

так помечталось, как никогда не мечталось прежде; и вот же ж было б здорово, помечталось ей, что а вдруг бы всё вышло как бы эдак бы, и сложились бы паззлы новые, что там новые — невозможные, а сложились бы всё ж в картинку, и картинка бы вышла новенькой, ну, а в ней уже места хватит для решительных всяких действий; и сложилось таки, как вздумалось. Представляете? Не поверите.

— Вот она, девушка, сила вам намеренья. Вся моща его. От любви к любви.

Пока Багира меня слушала, а я говорил и её разглядывал, в ней собирались разные непогоды — то ветром, то тучами, то порывами, то накатами. И на моих словах о любви, она приложила ладонь к сердцу, шепнула «Простите!» и метнулась из кухни в туалет, и там её стошнило. И это было первое реальное очко, которое она у меня заработала, потому что я уверился в её честности. Ай да Багира! Ну, и про себя не забыть. Ай да Южанин! Правильно?

Она воротилась в кухню не сразу. She took her time. Долго шумела водой из-под крана в ванной комнате. Возникла умытой, без глаз в глаза, а пальмочка с макушки перекочевала в конский хвост на затылке. Я вчера вволю нагляделся на их звериную грацию, пантерок балаганных, на всех разом и на каждую по отдельности, по одной из, и невольно насладился их вкрадчивой неразличимостью и некрасивой красотой. А эта уже больше не была одной из, она теперь была той самой, и перемена эта, вынос такой вот за скобки, привели к вполне конкретному результату: её проход от двери к столу, её поступь пантеры, взятой на службу инструктором в школу ниндзя, эта её грация,



вызвали у меня во мне, безо всякого объявления воздушной тревоги, мгновенный катарсис верхних дыхательных путей. Я поспешно закурил и затянулся так, как в седьмом классе перед девицами.

Она села на стул и придвинулась к столу и сложила на нём руки в спущенных рукавах с кружевами на запястьях; и сложила она их не хуже «Девушки с персиками». Кружева были белыми, а руки смуглыми, и вместо персика в них был батистовый платок с вышитыми в уголке буквами «БАФ». Она подняла бледное сквозь смуглость лицо и решительно посмотрела мне в глаза, и это был еще один иной взгляд. И теперь там, в просторах тех у неё всамделишной её отваги и в сиянии любви и восторгов, вспыхивали и гасли, гасли и вспыхивали боли с кручинами.

— Простите. А чего я ждала, да? Правда же?

Я пожал плечами.

— А я не знаю, чего ты ждала. Или нет, постой. Знаю. Чего ж не знаю?

— Сомневаться уже не приходится, — сказала Багира. — Куда уже сомневаться.

И она улыбнулась; невесело, но с улыбкой. Скупее, чем мне хотелось бы, но всё ж поболее Моны Лизы, на полмиллиметра. Ну вот, Иван, смех услышал, улыбку видал. Первый урожай. Что еще?

Часы из дальнего тёмного коридора стали бить одиннадцать. Многолетняя привычка писать, когда трезвый, с утра до полудня давно уже сыграла со мной глупую шутку: бой часов на двенадцать разделяет меня экватором на весьма разные виды деятельности. Что еще успеть за оставшийся час? Доверимся потоку. Хуже не будет.

Молчим. Смотрим в глаза. До меня наконец дошло, чем от её лица на меня дохнуло сегодня в первые секунды, дохнуло, да не смог рассказать себе. Теперь понял. На ней, на Багире Фаллалеевой, на лице её, и до похода в ванную не было никакого макияжа; а эти смоляные ресницы, эти брови, как в сказке из тысячи и одной ночи, принадлежали ей самой, а не Шахерезаде; Бог подарил. Чистым было лицо; в любом смысле, какой сюда помещается. И сейчас на нём сквозь смуглую кожу и даже по губам алым проступала и отступала бледность, подстать матовым белилам старого голландского замеса. Так, скажу, и поэтом, а то и живописцем недолго заделаться. А это в мои планы на сегодня до полудня пока не входит.

Она облизала губы и нарушила молчание.

— Нет, ну а в самом деле, как это так? Простите, как такое возможно?

— Ты про фокусы?

Она не ухватила вопроса, и в глазах у неё, в довесок к боли с кручинами, мелькнула растерянность. Вот уж не подумал бы. Я знаю цену отваге. Выручим?

— Ты о чём? А, девушка? — Ну, разумеется, эта «девушка» режет ей слух и дерёт против шерсти, черной с блеском, с булатным отливом шерсти на пантере, но пусть уж потерпит, раз отважилась; не вижу причин ограничивать себя в такой малости. А меня, скажи, спросили, а мне какво? — Ты о том, что с легонца помог тебе высказаться у меня на аудиенции? Ты об этом?

— Да, — сказала она, можно сказать, с благодарностью. — Я об этом.

— Так вот, да будет тебе известно, я твоего босса вчера раз двести пытал, как это он так с легонца мои мысли у меня из башки выуживает и не подавится. И, представь себе, не добился. Не снизошли Ярослав Акинфиевич до разъяснений. Обошлись одной фразой: «Я цирковой». Лучше б уже мне что-нибудь про спецзадания свои понагородил. Но нет же, опять мимо. Так что полагаю, милочка моя, что ты лукавишь, вопрошая меня, а как же, а что же. Давно уже с Барановым должна была к такому привыкнуться. А?

Я перестал, пока говорил, отмечать все нюансы в той катавасии, что творилась теперь в глазах у Багиры. Ну честно, себе дороже. А «милочку мою» приложил от души, чтобы, говорю ж, не стреноживать себя без особой надобности, а то, неровен час, и разучишься свободно перебирать аллюрами.

— Нет, не лукавлю! — Багира мотнула головой, отчего густой конский хвост цвета шкуры на пантере улёгся ей на плечо поверх белой блузки. — Я обещаю вам, что не лукавлю.

— ???

— Ну да, вы правы, конечно, Баранов берет телепатией, когда получается. Так мы так все понемногу. Я тоже. Там важно контекст назубок знать. Это первично. Однако вы же другое проделали. Совсем другое. Ну правда же?

— Да? И что же?

Она задумалась, а потом сказала спокойно, и от тембра её голоса нельзя было желать ничего еще. Она сказала:

— А вот что. Вы в двух словах разложили весь этот мой гром среди ясного неба. Да на иголочку. Да из иголочек нитки все повыдергивали. Вот что!

Я ей проаплодировал, хотя бы затем, чтобы взять себе передышку. На меня нехорошо потянуло сквознячком, и сквознячок этот назывался спецподготовка. Это с одной стороны. А с другой, которая в общем-то, без прикрас, была продолжением первой, я увидел ясно, кого мне моя гостья и речами своими тоже напоминает до одури; и это опять был слуга ваш покорный. Ну не йо ли ма-йо ли? Такие дела.

— Так чего ты хочешь, Багира? Чтобы я раскрыл тебе свои секреты? Рассказал, как я это делаю?

— Да Господь с вами! Нет, конечно. Вы поймите, пожалуйста. Меня просто потрясло! Даже вытрясло.

Она улыбнулась наконец безо всяких яких.

— Ну слава богу!

— Что? Что вытрясло?

— Что улыбнулась.

Она улыбнулась.

И от этой уже улыбки ворот заржавленный якорной во мне цепи, скрежетнув, повернулся на полрумба.

— Поверьте мне, — сказала Багира, — те вопросы были восклицанием. Верите? Они выразили мое сумасшедшее удивление. Вот что. Нам следует, мне кажется, отнести их к риторическим. Можем?

— Уже.

— Спасибо. А можно, пока секундомер не включили, еще вопрос?

— Попробуй.

— Вы такой, простите, покладистый, потому что вам, простите меня, всё до лампочки?

— Ну, начало-о-ось!

— Нет-нет, я...

— Вот потому и предлагал взять с тебя подписку.

— Не волнуйтесь. Я уйду, как только скажете.

— А я и не волнуюсь.

— Ну да Боже что я несу совсем растрясло подождите Бога ради я возьму себя в руки такой не бываю ну просто никогда вот возьму сей же час вот увидите...

И она, сложив кулачок с красивым колечком на среднем пальце, поднесла его к голове и постучала им себя по лбу, а вернее лбом постучала о кулачок. Промакнула батистом глаза и отважно глянула в мои.

— Переоценила себя? Так думаете?

— Не думаю.

— Ну да. Зачем вам? Опять околесица.

Она снова постучала лбом о кулачок, а потом распрямилась и взяла себя в руки. Вот так вот, без фонограммы, прямо на глазах у меня, взяла и взяла. Сквознячком опять потянуло.

— А можете мне помочь еще раз? Из сострадания.

— О! Из сострадания, Багира, я такого могу понаделать, что не вырулим. Давай лучше просто так, по-аплокионски. Из здорового цинизма. Пойдёт?

— Спасибо. Можете мне подсказать, пожалуйста, где мы застряли?

— Запросто. Я, милочка, диалоги запоминаю, как считалки для жмуток в детстве. Только мы нигде не застревали.

— Вы полагаете?

— Просто уверен. Потому что мы не мы.

Она думала секунду.

— Фу ты! Ну разумеется. Причём здесь вы? Я застряла. Ну, конечно же. Я сама.

— Теперь правильно. И застряла ты опять же на риторическом «ну а чего я хотела, да?», на что я тебя заверил, что как раз знаю, чего. Просто не сомневаюсь. И могу сказать. Говорить?

Она, закусив губу, молча кивнула.

— Хотела ты, отважная, слиться со мной в экстазе и прожить вместе долго и счастливо и умереть в один день. Как-то так, опуская частности.

Она снова кивнула.

— Ну, действительно. А чего я хотела, да?

И тут взгляд её взял да погас.

Фу ты, йо! Это зря пока.

Она перевела дух.

— Ну, я пойду, да? Спасибо, что выслушали.

Я расхохотался. Можно сказать, что почти от души.

— Выслушали?! Да тебе, горемычной, тут слова молвить не дали! Тут же не люди, Багира Анзоровна, а чурбаны бездушные. Не видишь разве? Упыри, вурдалаки, нелюди! Загубили тебе такую аудиенцию! Ну не свиньи, а? Ну садюги! Ну мракобесы! Вот же ж народ!

Багира смотрела на меня, если не в ужасе, то в страхе непритворном.

— А мы их сейчас, Багира Анзоровна, взашей отсюда! Раз такое дело. Правильно?

И я схватил своей очень тренированной левой за шкурку всю эту гоп-компанию и с размаху вышвырнул просто в форточку.

— Кыш, проклятые! И не вертайтесь!

Фух.

Перепугал девушку. Честно, не собирался. Хорошо, что друзья не видят. Они б мне уже приложили про мою контузию и про планку, что, если падает, то в землю на метр уходит, и ничем её оттуда не поднять, пока эпизод не исчерпан. Они б уж на мне остроумие свое всласть бы пообточили. Ну, сами виноваты, что их тут нет; у всех дел по горло. Один я бездельник. Богема. И вот человечек тут прибивается, да прибиться не может.

— Ну вот, — сказал я, поменяв голос на человеческий. — Теперь можем и секундомером побаловаться.

— Так теперь уж зачем? — её бледность на смуглости сменилась полыханием предзакатным. — Ни к чему теперь. Теперь что сказать? Сказать нечего.

— Это, котик, с перепугу, — заявил я. — Вот увидишь, что найдётся. Главное, как говорит Михал Сергеич, главное начать. Ферштейн?

— Погодите, — сказала Багира. — Я правильно понимаю? Вы даете мне еще один шанс?

— Один? Ну, не знаю я, сколько даю. Не считал. Думаю, больше. Ну точно не один.

— Погодите. Боюсь ошибиться. Вы со мной вот это как кошка с мышкой сейчас, да? Не нарезвились?

— Ага, — сказал я, — вот оно как? Мы таки да нервные? Недолго музыка играла, Багира Анзоровна. А как хорошо начиналось, да?

Она молчала. Взгляд у неё то загорался, то угасал.

— Давай так, красавица. Руки опустились? Да? Передумала? Досада взяла? Встала, блядь, и вышла! И вали отсюда взялась. Скатертью дорожка!

К чести её глаз она не опустила. Но и ответить труда себе не дала. Ну и встать и выйти, разумеется, тоже. Я физически ощущал тектонические у неё внутри подвижки лопнувшего там хаоса.

— Мы еще, красавица, часа не провели, а ты уже огрызаешься? А скажи на милость, а нахера ты такая кому-то сдалась тут, а? Не подскажешь? Я столько, милашка, когтей ваших на веку изведаль, что не потерплю больше ни единого. Ни одного, бляха-муха, коготочка. Это же очевидно как божий день. Нет разве?

— Бог ты мой! — сказала она. — Я же всё это про вас знаю. Простите меня ради Бога.

— погоди.

— Я не знаю, что со мной. Беда приключилась. Я не знаю.

— погоди, говорю! Теперь по поводу «нарезвился».

Багира вздохнула так, что дальше некуда.

— Разъясняю, блядь, для особо одарённых. Не нарезвился. Это раз. И не нарезвлюсь никогда. Это два. А когда нарезвлюсь, то напечатаю объявление в газете. И дам тебе прочесть. Через лупу. Это понятно?

— Более чем. Ну простите меня. Я правда очень сожалею, что так сказала.

— Дело, Багира, не в сказала. А дело в почувствовала и в подумала. Вот в чём, бля, дело на самом деле.



— Да согласна я. Знаю я. Правы! Ну сто раз правы! А я споткнулась вдруг. Ну сама не своя. Ну поверьте же. Ну такой не бываю.

— Как не бываешь! Вот уже.

— Да нет же. Пожалуйста. Накатило помрачение. И вот укатило. Можно так? Можно?

— Можно, — сказал я. — А чего нет? Раз укатило. Правильно? Конечно, можно.

— Правда? Ох. Вы всерьёз?

— Резвлюсь, не нарезвился.

Она закусила губу.

— Дубль второй, — сказал я. — Эпизод первый. Здравствуй, Багира. Я Иван Южанин. Контуженный хулиган с рогаткой. Сорок два. Развод не за горами. А ты кто? А нужна тебе аудиенция? Аж до полудня. Так прошу.

Смотрела она на меня, смотрела, долго, по нарастающей, и вмиг вдруг разрыдалась, да так, что аж хлюпнуло, так, что слёзы авангардные в меня брызнули через стол. Всегда что-то бывает впервые. Вот слезами в меня еще не пуляли. Коль скоро птичка настрёт на голову, то к деньгам, так слёзки гости на грудь в упор, думаю, что к счастью. Хорошая будет примета. Теперь пойдёт.

И вот новое очко в её пользу. Терпеть не могу, когда они слёзы льют. Просто бесит до потолка. А эта рыдала вот, как по мне, так совсем непротивно, новым, надо полагать, плачем эпохи Водолея, ну и батистовый платочек с инициалами играл в этом деле, разумеется, не последнюю роль. Плакала она долго и открыто, на всю катушку, а не украдкой, тоже отважно, как и всё, что пока делала. Это, пожалуй, и примирило меня враз с нелюбимым

аттракционом. А черты её пока продолжали всё ускользать из-под фокуса, не наводилась резкость на них; не сходились они, каждая порознь, в цельный образ, в портрет на стену, чтоб для потомков. Вчера мне и в самом деле все разом приглянулись они, пантерки из Балагана, очаровали бесшумной вкрадчивостью, несходством неразличимым и некрасивой, глаз не отвести, привлекательностью, дерзкой неправильной красотой; кому любы рокфор с камамбером, те мимо такого не пройдут, не враги ж себе. А тут вот, один на один, собрать бы себе в пучок, что вижу, хоть на эскиз для личного пользования. Да вот пока топчемся.

Батист исчерпал себя, в смысле, вымок до нитки, и я принес ей чистое полотенце из комода в спальне; еще суток нет, как Лидочка покинула эти стены и отправилась в новое путешествие, откуда сюда возврата не будет, и больше ей здесь не почивать, не заниматься ей больше здесь никогда любовью ни со мной, ни без меня; опустело свято место, как не бывает, и мне сюда пока тоже здоровее не хаживать.

Багира отложила платок и взяла у меня полотенце. Она всё еще отважно рыдала, и словечка не вставить. Часы из тёмного коридора бомкнули получасье. Она сквозь всхлипы всё же спросила:

— Истекает аудиенция?

— До полудня, — сказал я. — Всё те же полчаса.

С которых и начинали.

Она уткнула лицо в полотенце, а я уселся напротив и разглядывал её руки с тонкими умными пальцами и вырвиглазным маникюром. Я не знал ни полмолекулы из того, что будет дальше. И видел в

этом благо. И дал себе слово не гадать что́ она еще выкинет и что́ сам сделаю через миг. Пускай поток верховодит. На такой манер я вознамерился с пользой для себя дожждаться Нового года, а там его и встретить. Ну, а гостья моя неожиданная опять проделала тот же фокус по взнуданию себя на глазах у публики. Она отняла от лица полотенце, и больше у нас тут никто не плакал. А красные глаза меж чернящих густых ресниц — это чтоб в помидорах прятаться, а припухлости по смуглому — это, значит, чтоб охмурять, если кто зазеваётся.

— Пожалуйста, — сказала она, и тембр опять был контральным, с очаровательной хрипотцой от недавних слез. — Пожалуйста, снизойдите простить меня. Дебют, увы, потерпел фиаско. Прошу прощения.

— Да не беда, Анзоревна! Какие наши годы!

— Вот же жуть! — воскликнула, да, представьте, громко воскликнула моя гостья.

— Жуть, конечно, — согласился я. — А что именно?

— Да как вы меня называете.

— А, это да, — сказал я ей задушевно. — Так я ж это, матушка, предумышленно. А не с кондачка. Прохождение уровней.

— Так а я это, Иван Александрович, понимаю, — сказала она моей интонацией. — Не дура. Дура б не поняла. Да?

— А давай ты, смельчачка, кроме шуток, знать будешь, что в моём присутствии люди частенько такие коники выкидывают, что потом за голову хватаются, или за живот, если еще и смешно к тому же. А сплошь и рядом.

— Не удивительно. От вас свет во тьме светит.

— И шо?

Она покачала головой.

— А я правильно понимаю? Вы меня утешаете? Или как?

— Ну, громко сказано. Просто сам же предоставил аудиенцию, так уж и выслушай ходока прежде, чем ему в обратный путь да неблизкий. Правильно? А то ж прослывешь, станется, самодуром. Или контуженным. А нам оно надо?

— Спасибо, что помогаете.

— Так-то оно так. Только слушай, Багира, тут повсюду обман зрения. Ферштейн? Смотри, умная, не попадись. Не вздумай, мать твою, ни за что на свете решить, что со мной рай и в шалаше. Или, того хуже, что я добрый, что могу приласкать. Фатальная ошибка. Могу приласкать, но жестче себя только Репу знаю. Не надо ко мне без доспехов.

— Уже попалась. Вы же сами всё рассказали. И жалеть не стану. Никогда, ни за что не стану жалеть.

— Не зарекайся. Что за дурь!

— Хорошо, не буду. Просто сказать хотела. Можно?

— Take your time, brave maiden.

— Я хочу сказать, что про то, что встречу вас, знаю уже давно. Больше года. Вы мне приснились. Мне вас во сне показали.

— А вот это не разговор.

— А почему?

— А потому что мистику любую нам сюда сейчас ох как рановато. Это на потом, если будет потом. Это на у камина. А сейчас она так запутает, что потом не распутаешь. А сейчас нам сюда — сермягу с кондовостью. Нам подай сюда стёкла битые да

уголья нам пожарче сюда, да по ним босиком, босиком. И это всё, что может сгодиться. А там поглядим.

— Я поняла! — сказала она весело, и огонь у неё в глазах вспыхнул снова. — Я скажу сейчас. Время ж есть еще? Скажу быстро, раз нам без мистики. Можно? Позволите? Говорю?

— Говори наконец.

Она набрала воздух для глубокого погружения без акваланга, метров на пятьдесят в глубину, не меньше.

— Я люблю вас. Я полюбила вас...

— Ясен день, — я кивнул. — Кто б спорил бы.

— ...Наша встреча нам дар небес...

— Ну! И с кем я сейчас разговаривал?

— Я вам ангел ваш во плоти...

— Глухая ты?

— Не глухая. Но вы послушайте!

— Ладно, слушаю. Бог с тобой.

— Я вам муза, вот вы увидите, и сестра я вам милосердия, я служанка вам и подруга вам, я вам друг, каких у вас не было, я вам мама детишек ваших, и все мальчики, гарантирую, я любовница вам и супружница, и по вызову я вам девушка, и без вызова, и как скажете, я кузина вам в обожание, я вам мама, когда захочется, я вам спутница в путешествиях, секретарша вам и привратница, я удачу вам приносящая и от напастей берегущая...

Воздух вышел, пришлось выныривать.

— Почему молчите?

— Так слушаю ж. А то к полудню не уложишься.

— Ну скажите, что не прогоните. Ну хотя бы сегодня. Хоть пару дней. Вот увидите, что не вру.

Пересказывать мои мысли с чувствами прямо тут в этом месте наших событий, друзья, просто не получится. Ничего путного не выйдет. Эта задача не для человеков. Так что.

— Ну, Багира, я сам психованный. Ну а ты! Забил заряд я в пушку туго! Да? Это ж куда же нам?

— Ну, такой мой глюк. Как от вашего камерунца. Сойдёт для девушки?

Я присвистнул.

— Всё подслушала, да? Про всё в курсе?

— Фрагментами.

— Ну, проехали, дело давнее!

Хохотнул своей шутке, славно ж ляпнулось, хотя и в самом деле со вчерашней ночи пролетел уже целый век.

— И чего ты ждешь от меня, красавица? Как, по-твоему, мне подобает отреагировать? А? На такие-то откровения! А? Не подскажешь?

— Подсказать? Вам? А могу. А можно? А позволите?

— А я что делаю? Вещай, пока не глушат. Радио «Отвага». Радио «Глюк».

Часы в тёмном коридоре всхрипнули, раззудившись.

— Говори быстро!

И в кухню сюда, в эту к нам небывальщину, вплыл первый удар из двенадцати.

Боммм!..

— Вам так подобает, Иван Александрович...

...Боммм!..

— ...поступить со мною...

...Боммм!..

— ...дать мне шансы, шанс, мои шансы...

...Боммм!  
— ...убедить вас, что не вру ни слова...  
...Боммм!  
— ...ни полслова не соврала...  
...Боммм!  
— ...день дать мне, два...  
...Боммм!  
— ...ну хотя бы месяц...  
...Боммм!  
— ...вот как вам следует, думаю...  
...Боммм!  
— ...отреагировать правильно...  
...Боммм!  
— ...  
...Боммм!  
— ...  
...Боммммммм!

**23 декабря, 1991, после полудня.**

*Квебрахо, квебрачо или кебрачо, нагота и  
пассионарность*

— Ну вот. Уложились? Теперь вердикт?  
Эхо звонов смолкло. Теперь тишина. Ватная.  
Под тёплый снегопад за окном.

Станным образом мне не хотелось делать то, что я дальше делать удумал. Да и не удумал даже, а так, двинулся по потоку, как сам себе и назначил. Объяснить, полагаю, мою общую неохоту участвовать в происходящем можно так, что был я не в кураже. Не подоспел он пока с потоком, не отыскался в нём. А шестеренки во мне с утра смазки не получили.

Я сказал:

— Живём до вечера.

— Поняла.

— Пойдём разденешься.

— Куда? На снег?

— Нет. Ко мне в берлогу.

— Идёмте.

— Что, вот так запросто?

— А вы что, предлагаете мне всплеснуть руками, — и она всплеснула! — и глаза закатить? — и она всю ширь распахнулась ресницами смоляными и сверкнула меж них огнем гнева праведным. — Как вы смеете только?! Ах, негодяй!!! Как вы смеете!!!???

Она так звонко это проделала, что мы б, конечно, рассмеялись бы дружно, если б только бы ситуация уже не прошибла бы нас насквозь напряжением в двести двадцать.

Я поднялся из-за стола. Поднялась и Багира. И оказалась высокой, мне по переносицу, ну почти; а во мне сто восемьдесят пять, когда позвонки не хандрят, шесть футов с дюймом; в Лондоне б взяли бы в полицейские, шлем бы выдали знаменитый, мечта детства; а в Багире, стало быть, пять футов и девять дюймов без сантиметра. Ну и как тебе такое? А не знаю, вот как.

— Ladies first!

Я пропустил её в коридор, где под высоким потолком на витом кривоватом шнуре в треснутом патроне тускло светила лампочка без плафона; и Багира пошла впереди, а я за ней, и отказался её разглядывать, потому как зачем вхолостую, если сейчас и так во всём убедишься. Только и заметил шлепанцы на ногах, не из моего парка лаптей для



гостей, её, видать, из баула с приданным; и на носках там болтали ушами при каждом шаге спаниели с глазами навывкате.

— Ух ты! Тапки для внимательных? Да? А то ж нос расквасишь, наступив им на ухо.

— А вся жизнь для внимательных, — сказала, не обернувшись. — Разве нет?

И остановилась точно посередине, под тусклым светилом на кривом шнуре. Я чуть не налетел на неё; но не налетел, а замер в миллиметре. Не коснулся ничем, ни мизинцем, только дыханием сверху наискось в затылок, в шею смуглую под конским хвостом. Чего ждет? Что возьму за плечи, прижму, поцелую? Ах, девушка, кабы было так просто всё! Нет, мы могём и просто, еще и как, только зачем? Результат известен. А нам прежних результатов больше не подавай. Понакушались. Мы тут в рыск с утра за счастьем. А вы? Вам же в ту же сторону?

— Чего стала? Передумала?

— А предвкушение всегда ярче, правда? Всегда больше того, что ждешь, да?

— А не знала? Так вам сейчас сходить? Или на следующей?

— Мне до берлоги.

— Тогда вперед. Ехай давай.

Она возобновила ходьбу и спросила без оглядки:

— А высота потолков сколько? Пять?

— Четыре девяносто четыре. Если быть педантом.

И это было уже полное дежавю про нас наемдни с Барановым. Ну нет, поспешил себе уточнить, не полное, слава богу.

— Будем педантами, — сказала моя гостья и больше не останавливалась.

И даже свернув из этого в другой коридор, в тёмный, где такая же лампочка, как в этом, давно перегорела, а стремянка уже пару лет обитала у друга на даче, даже тут не пустила меня вперед.

— Не надо. Я ориентируюсь.

Спецподготовка.

Она не зацепила ни телефона, ни велосипеда, никакой другой рухляди, что тут понаставлена, и даже ручку на двери нащупала не хуже моего.

— Свет включать?

— А ты бы предпочла в темноте?

Она щелкнула тумблером, и под потолком вспыхнула люстра с застрявшей в ней вчера пробкой от шампанского. И ни следа от двухдневного застолья. Блеск, и без нищеты, ну и, грубо говоря, и без куртизанок.<sup>5</sup> Не удивительно, что нашла выключатель. Прибрано на пять звёздочек.

— Садись пока.

Она села в то кресло, где вчера восседал её босс.

Шторы на окне и на двери на балкон были содвинуты, и зимний день к нам сюда не пробивался. Я включил оба торшера и погасил люстру.

— Пробка в люстре? — сказала Багира.

— Пробка в люстре, — сказал я.

Там был еще и Дар Событий, дремал в полглаза, и к чести его ничем иным себя не обнаруживал. Я убрал со столика на полку обе книги и массивную дедову пепельницу в виде вулкана, а себе принес с письменного стола свою кита-рыбу, в кого ветер,

---

<sup>5</sup> Роман Оноре де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок».

если есть, то не задувает. Сел в кресло напротив Багиры и, как сумел, по нутру, приосанился. Стол теперь между нами был пуст; только кит на нём, да на ките пачка «Явы» и зажигалка. При деде тут был другой, таки да журнальный, со столешницей из стекла, но мы раскокали, а этот мы с Гариком сами изваяли в четыре руки у него в мастерской; он по дереву с детства балуется, потому рука у него за две, стало быть, в шесть рук вдвоём изваяли; из морёного, братцы, дуба, вот, встречайте, пассионарии, оба-два, блин; кебрачá на нас не сыскалось, я имею в виду кебрачо;<sup>6</sup> но мореного дуба вполне хватило; и теперь редко у кого язык поворачивается назвать наше с Гариком творение столиком, потому что это стол, невысокий, ростом с журнальный, но на таких мощных львиных лапах, да с полкой, да со столешницей такой толщины, что для любого дела сгодится; мы его еще и таким покрыли лаком, да в столько слоев, эстеты, чтобы он нам под любимый цвет хаки маскировался; любо, короче, дорого.

Один торшер я потянул и выключил.

Посмотрел в глаза своей гостье, а она мне. Потом голос подала.

— Можно сказать?

Я кивнул.

— По вам вообще ничего не поймешь. Ну просто вообще! Непроницаемый.

— Вот бы мне в покер играть. Да?

— А не играете?

---

<sup>6</sup> Квебрахо, или квебрачо, или кебрачо (исп. quebracho) — собирательное название трёх субтропических видов деревьев из Южной Америки. Слово происходит от исп. *quebra-hacha* — «ломать топор» — и объясняется высокой твёрдостью их древесины.

Я покачал головой.

— Нельзя мне. Азартный. Табу.

Она покачала головой.

— Вот знаю, что не врёте. А верится трудно.  
Верите?

— Как есть. Раздевайся.

— Здесь? — она кивнула на сверкучий, цвета хаки, стол на львиных лапах.

— Разумеется.

— И музыку поставите?

— Ага. Арию Февронии. Обойдемся.

Она поднялась, скинула с ног спаниелей и забралась на стол. Я задвинул кита в самый угол. Она расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, потом еще одну. В поспешности не заподозришь. Третью.

— Непросто даётся?

— Ну, а вы как хотели?

— Я? Да никак.

— Ну да. И то верно.

Она расстегнула и сняла белую блузку с кружевами на рукавах; протянула руку и отпустила блузку над креслом; та в него и спорхнула.

— Очередность подскажите? Или импровизировать?

Я задумался.

— Лифчик снимите.

Она перестала смотреть мимо и уставилась мне в переносицу. Руки за спину, под лопатки; расстегнула; придерживая, по очереди высвободила руки из-под бретелек, и вот он момент моментов, обнажение женской груди; открываем; повис лифчик в пальцах на вытянутой руке и отправился в кресло, чёрный, поверх белой блузки; но еще прежде, чем он туда

отправился, я уже ахнул; молча, разумеется, а всё-таки. Это было в яблочко — тепло и прекрасно, сильно и молодо, и светлее остальной смуглости; и с бутонами под цвет крепкого вирджинского табака. Она подняла руки и сплела пальцы на затылке. Не опустив глаз, спросила:

— Что скажете? Это я, чтоб не молчать.

— А скажу, — сказал я. — Как не сказать. Это, Багира, прекрасно. Просто восхитительно. Вот что скажу. Не стану умалчивать.

— Вот видите, — сказала она и развела локти. — Я не вру. Продолжать?

— Нет, блин! Собирай манатки и уматывай.

Она улыбнулась без улыбки.

— Я вам серьёзно. Может быть, остановимся? На время. Как думаете?

И, чёрт подери, я опять задумался. А действительно. Как вариант. Взвесил за и против.

— Да нет. Снимай все одёжки.

Она склонила голову, расстегнула и спустила джинсы, и выбралась из них, и отправила их в кресло с паспортом в заднем кармане, и паспорт показал нам оттуда свой красный уголок. На ней, хвала небесам, не было колготок. И вот за это я особо признателен всем, кто поучаствовал; всегда можете рассчитывать на моё спасибо. А были на ней чёрные, из ансамбля с лифчиком, трусики и белые носки с вышитыми на внешней стороне чёрными пантерками.

— Стринги?

Она провернулась на лаке стола плавным пируэтом. Стринги. Мы подготовились. Ноги в её росте, теперь уже не поспоришь, занимали не последнее место, и на всём протяжении от бёдер до

щиколоток, и сюда же ступни в белых носочках, это были очень, очень, ну просто очень красивые ноги, настолько очень, что пришлось приложить усилие, чтобы убедить себя в том, что глаза мне не врут. У меня получилось. Но вынужден дух был перевести. А Багира спросила на полном серьёзе без иронии:

— Тяжело даётся?

Ну, а как тут такое у меня без иронии спросишь? А никак. Глубоко просто заложена, подрывник опытный; без экскаватора не добраться. Ну, я вернул ей:

— А ты как хотела?

— Я? А что, непонятно? — Она машинально прикрыла крест-накрест ладонями грудь, но спохватилась и опустила руки. — Хочу, чтоб понравилось. Чтоб легко.

— А цену мы себе, значит, знаем, да?

— Так с вами ж не угадаешь.

— А чего гадать? — Я закурил. — Снимай трусы.

Она приступила; запустила в них пальцы.

— И поворотись, девица, к лесу передом, а сюда задом.

Она отвернулась к портретам героев на полках с книгами за креслом и стащила с себя стринги одним слитным, нагнувшись, движением до самых щиколоток, выступила из них сперва одной пантеркой на белом, потом другой, и разогнулась. Стринги в кресло не упорхнули, а остались на столе, в скукоженных складках утраченного смысла. Вслед за старыми фламандцами я тоже полагаю женскую попу выдающейся удачей Творца, одним из красивейших местечек мироздания, и у Багиры её ягодицы ничем не уступали ни бело-мраморным античностям, ни

обожаемым японским гравюрам, но выигрывали у них тем, что были не из мрамора и не тушью, а живыми и смуглыми, в ровный тон с гибким телом. Я затянулся поглубже да повкуснее. Куража сегодня я от себя не ждал и правильно делал, но проводимая мистерия мало-помалу нащупывала, пробиваясь к нему, свой, новый, смысл; новый, коль повезет. Охота за чувствами.

— Подними.

Она нагнулась за стрингами.

— Долго поднимать?

— На твое усмотрение.

Она скатала стринги в миниатюрный комочек и зажала его в кулаке, и разогнулась.

— Ну как? — спросила, не повернув головы. — Это я, чтобы не молчать.

— Как? Да грандиозно, Багира! Можешь не сомневаться. Мой любимый ракурс.

Я затянулся.

— Не знаю, конечно, как будет поближе к ста, но сейчас кажется, что мог бы созерцать его сутки напролет. Не надоедает.

— Я скажу, да? — сказала она высокая и голая, лицом к портретам героев.

— Скажи.

— Вы что ни скажете, я только дальше проваливаюсь. Лечу вниз головой, как Алиса в норе.

— Да не парься. Мне все так говорят.

— И это правда, — сказала она. — Как не бывает. А вот же.

Она снова нагнулась, так, что конский хвост уткнулся в тот край стола, и расставила ноги, и поглядела на меня вниз головой; и швырнула мне

стринги. И я поймал. И опять дежавю, и береты красные, и красные туфельки.

— Балаганная! — Я погасил сигарету. — Цирковая! Всё нипочем. Да?

Я огляделся и закинул стринги на глобус, на огромный дедовский глобус между нами и бюстом барона на высокой герме; и стринги, обхватив узким местом латунный, под углом оси к орбите, набалдашник, повисли там на Северном полюсе. А Багира наконец позволила себе без спросу:

— Отвлекаетесь? — сказала вниз головой, отчего тембру её добавилось плотного бархата. — А вы лицезрейте, господин, лицезрейте. Пока до ста еще вам далече.

Засмеялся б, коль мог бы.

— Ну вот! Я нас тут, понимаешь, стыдом да намереньем по Тантре чищу. На всхожесть проверяемся. А ты, душа моя, значит, не даешься? А ты, разумница, ускользаешь?

— Опять же, чтоб не молчать, — сказала она вниз головой еще более налитым тембром и обхватила себя под коленками. — Верите? Молчу. От вас увернешься!

— Давай повертайся, — сказал я. — К лесу задом.

И закурил.

Она распрямилась, потянулась и стала ко мне лицом с прихлынувшей в него краской. И вопросы, если были, то отпали, потому как прическа на нужном месте, аккуратная, но без минимализма, явилась в полном соответствии и с местом, и с назначением; и губы там по соразмерной вертикали, по этой срединной причине всех причин, были поджаты



плотно, как надо, не напоказ, и красивы были подстать губам алым, что обитают повыше и улыбаются без улыбки.

Ты что, Южанин, сам себя ею охмуряешь? С каких таких радостей? Нет, дудки, руку не прикладывал, вот-те крест. Это случай в чистом виде, бог-изобретатель. Не я. Я вот наоборот не ведусь, как могу, что, не видишь? Видеть вижу, но понимать не понимаю. Так а я о чем же! Вот и поговорили. И никакого Дара События не понадобилось. Я всё же глянул на люстру, и он, son of a bitch, дремля в полглаза, этим глазом мне оттуда и подморгнул.

Я затынулся.

Не надо быть Набоковым, чтобы ясно понимать, что для запечатления интимных ситуаций, для живописания вслух или на бумаге чистой эротики и востребованных ею чувств и деяний, в русском языке катастрофически не хватает нужных слов. На что автор «Лолиты», написанной сперва по-английски, и указывает в предисловии к своему русскому переводу для издательства «Посев». Но не обязательно, повторюсь, быть автором «Лолиты»; вполне достаточно самому в начале шестидесятых воспылать страстью к сочинительству собственной честной прозы и не сворачивать с этой горной тропы, и тогда у вас к девяносто первому, к гадалке не ходи, не останется никаких сомнений в суровом у нас дефиците слов для этой запретной темы.

— Слов нет! — сказал я своей гостье, которая стояла передо мной на столе во весь рост, смуглая и гладкая, в одних носочках да в серёжках в ушах с изумрудами. — Просто Шахерезада! — И опять дежавю. — Как избито, да? И тем не менее.

— Я правильно понимаю? Вы мне говорите, что я вам нравлюсь?

— А могло быть иначе? Твоя внешность, тело твоё это ж козырь неубиенный? Туз червей. А то не знаешь! Что за лукавство?

— Так с вами ж не угадаешь. А то не знаете!

— И то верно. Отвечаю. Нравится. И повторяю. А как такая может не понравится? Это ж обалдеть можно. Что, скажешь, нет? Ну не полный же я идиот! Раздевайся давай.

— ???

— Носки снимии.

— И серёжки?

— И серёжки. Ограбление.

Она сняла; и носки упорхнули на кресло, на джинсы с паспортом, сокрыв красное под белым, а изумрудики легли на стол рядом с китом-рыбой. Ногти на пальчиках на ногах были вишнёвыми и, являя собой противоположность вырвиглазному маникюру на руках, на умных пальцах, совершенным образом с ним гармонировали. Это всё же очко, ещё одно. Вкусу не научишь; такому уж точно.

— Ну вот, — сказал. — Теперь голая наконец.

Она стояла, не шевелясь, и смотрела на меня сверху вниз; опять в глаза мне смотрела. И тихо стало так, что слышен шорох снега за окнами.

— И каково тебе, отважная, стоять в чем мать родила перед одетым дядей?

Она не ответила, но и глаз не отвела.

— Щекотно, нет? Гадко? Мерзко? Восхитительно?

— Можно не ответить? Или обязательно?

— Не обязательно. Ты только стыдка поддай. А? А то стиснула зубы, как бульдог на горле, ну и толку?

Давай стыдок в себя запусти. Пускай он нам нас повысветит. А то блуждаем тут по потёмкам.

Она дёрнула плечом смуглым, и блеснули слёзки в глазах.

— Не могу пока. Если разжаться, боюсь, что не справлюсь.

— Так в том-то ж и фокус, Багира, чтоб и разжаться, и справиться. А то, что мы тут, думаешь, стриптизом заняты?

— Не думаю. Нет, я знаю, но пока не могу.

— Ладно. Подойди ближе.

Она шагнула на мой край стола, и я пустил ей между ног в просерёдку и в причёску её струю густого дыма.

— Должно помочь? — спросила Багира без улыбки.

Лицо её теперь было высоко надо мной, высокогато для гляделок, а охотиться за её иронией без экскаватора мы больше не станем. А охота у нас тут, как сказано, охота у нас за чувствами, за прозрачными и за чистыми, за всамделишными и верными; а задуркам всем с заморочками, а обманкам с самообманками — смертный бой, и ату их! прочь! сколько можно?! давно о душе пора.

— Помочь? Чему? Стыдок запустить?

Она с высоты кивнула.

— Запустим, гостя. Куда мы денемся.

Я протянул руку к её губам, которые были тут, а не наверху, но не прикоснулся, а провел пальцем по воздуху в миллиметре, на бреющем, вверх-вниз, с ветерком. А коснулся я и погладил её бедра с вагиной рядом, они шелковы и прохладны, я похлопал по ним с признанием.

— У тебя здесь очень красиво. Да, Багира? Как не бывает.

— С вами всё так, как не бывает.

— А с тобою?

— Когда я с вами.

И часы пробили нам получасье.

— Быть не может! Прошло только полчаса?

— Так сама ж говоришь. Всё бывает, когда бывает.

— Нет, ну в самом деле! Вот это фокус.

— Счастливые часов не наблюдают, — сморозил я, аж самому противно.

— Так а тут же как бы наоборот! Время как бы остановилось, — она отступила от меня на полшага и наклонилась, чтобы заглянуть в глаза. — Разве не так?

Я пожал плечами и сморозил еще одну глупость.

— Речка движется и не движется, — сказал я.

А Багира, приблизив ко мне лицо и чуть не плача, спросила шепотом:

— Вся из лунного серебра?

Я кивнул, и у неё из глаз побежали слёзы.

— Стыдочка пожаловал?

Она потрепала меня по макушке, почти так же, как давеча в кухне при Баранове, и распрямилась; утерла слёзы и шагнула опять ко мне вплотную на край стола.

— Я справлюсь. Что дальше?

— Дальше? Стой тут. Справляйся. Помогу, чем смогу.

И я погладил её бедра рядом с вагиной, там, где выше уже некуда. Моя гостья заистуканилась; да и в

себе я пока, если и мог распознать восторг некий, то был он, пускай и внятнм, но чисто эстетическим.

— Оживай, Галатее. Чего ждать? Не в музее. Не статуя.

— Так я готова. Разве нет? Ко всему готова.

— Да? Это, интересно, к чему же?

— Вы хотите, чтоб я сказала?

— Именно!

Я отнял ладонь от её прохладных бедер и отодвинулся вместе с креслом. И прибавилось мне созерцания. А ей от этого перепало, как я понимаю; будто заново разделась. И снова руки машинально дёрнулись, чтобы заслониться; и спохватилась, и опустила их.

— Так к чему ж ты, барынька, в чем мать родила, готова, говоришь, а?

— Ну как? Разве непонятно? Ко всему.

— Ко всему? А вот непонятно. Неведомо мне, что оно такое, это самое всё. Скажи мне, раз знаешь. Слова говори.

— Вы меня терзаете?

— Я? Нет. Проход узкий. Бока дерёт.

— Бока?

— Это метафора.

Она вздохнула. Её нагота под моим созерцанием и от слов моих пустилась донимать её плече прежнего. И я даже мельком понадеялся, что моя гостья не выдержит и сбежит. И она заёрзала, переминулась с ноги на ногу и прикрыла себя всё ж ладонями между ног.

— Обещали помочь. Верно?

— Ты что же, ждешь, что я на тебя накинусь и познаю всю разом, и много раз, до макушки с

пятками? И полегчает? Да так в этой ситуации любой дурак сделает. А говоришь, умная.

— Я умная, честно. Вот увидите. Просто, ну, поймите, не каждый же день вот так!

И она убрала ладони, показав мне, как.

— А мы тут, Багира, в рыске с тобой. В отважном рыске за новыми чувствами. Новыми и живыми, а не выдуманными нами и нам за нас. И потому мы не станем поступать так, как поступит любой дурак. Да и вообще все прочие. А пройдем калиткой нехоженной. Мы вот её толкнули. Да? А проход за ней узкий. Сама видишь. Так что? В Барнаул?

— Нет, — она мотнула головой, и конский хвост мотнулся, только не сыскалось на него ни мух, ни оводов. — В нехоженность!

— В таком случае повывставляйся тут на подиуме еще с полчаса. Вертушка<sup>7</sup> на подлёте.

— А воды глоток?

Я принес из кухни стакан и бутылку минералки и, шагнув из тёмного коридора к себе в библиотеку, восхитился зрелищем, всем великолепием того, как у меня тут на сверкучем столе в свете торшера, посреди царства тысячи книг, стоит отважно и без досады высокая, стройная, абсолютно голая девушка, испытывавшая жажду. Я дал ей напиться и сам глотнул, и снова сел в кресло, подальше от стола.

Молчим. Вкушаем неловкости.

Я забрал со стола кита-рыбу и закурил. Гостья моя в наготе своей смуглой, и тем не менее, ослепительной наготе, стояла неподвижно, не прикры-

---

<sup>7</sup> Вертушка — (воен. жарг.) вертолёт.

ваясь, теперь уж, думаю, чтоб себе доказать, и смотрела на меня, то в глаза, то разглядывая.

— Я скажу?

Я кивнул и затаился.

— Скажу, что мне кажется, что вы так нечасто одеваетесь, как сегодня. Я угадала?

— Угадала. Решил с утра в праздники поиграть.

На мне был черный, со стальным отливом, китель, а-ля Джавахарлал Неру, при стоячем, о двух пуговицах, вороте под самый подбородок; всего пуговиц на нём было восемь штук, серебряных, калибром на двенадцать, чтобы, коль нужда, зарядить в лепаж<sup>8</sup> и пультнуть в вурдалака; или из рогатки; и такие же брюки из сукна, с ночи отутюженные, и того же цвета носки по икры; а под кителем, чего гостья пока не ведала, рубашка из черного шелка, тоже с воротом-стояком в одну пуговицу. Прикид этот, как и камзол барона с панталонами, тоже выстроил себе в этом году; чего я только с января не позатеивал, дабы устоять, а не рухнуть, под радиацией Лидочки, утратившей после всего и Цхалтубо, вкус к жизни, к жизни вообще и со мной в частности. В прикиде этом, собственно, я никому еще толком и не являлся. Ну, вот Репе поутру, но тот глазом не повел. А Антонина за чаем только и заметила:

— Диктатора репетируешь? Или Мориарти?

— Чан Кайши с Мао Цзэдуном.

Ну, а эта, отважная, как прознала, что чуть ли тут не в обновке? Чуйка пантерова?

---

<sup>8</sup> Лепаж (фр. Le Page) — от фамилии знаменитого оружейника; марка пистолетов, широко применявшихся на дуэлях в XVIII и XIX веке.

- А что, не идёт?
- Кокетничаете? Неужели?!
- Ну, пожалуй.
- Вот это да!

— А ничто человеческое, милая девушка, нам, знай, не чуждо. Ты так и знай.

— Я попробую.

Неподвижность её одолела; и Багира, переступив туда-сюда по блеску лака босыми ступнями, воздела руки и распустила волосы, словно ворон взмахнул крылом, и снова собрала их в густой хвост повыше на затылке; и стала разглядывать книги на полках и портреты со статуэтками, с масками и фигурками, и люстру под потолком без света в сумраке с пробкой среди хрусталинок, и глобус со стрингами на полюсе, и бюст барона на герме из восточного алебастра с проступающим из него сиянием, и мой стол за ними с двухпудовым «Мерседесом» под зелёной лампой, и шкуру ошкуя в углу на паркете, и одежды фрайхерра с туникой бенедиктинца на палке-вешалке; она крутила головой, переводя взгляд с одного на другое, и сама поворотилась несколько раз и наконец совершила полный оборот, и оказалась снова ко мне лицом с опущенными руками. И пока она занимала себя этим кружением, я разглядывал её тело, её грацию, от которой комок в горле, и снова убеждал себя, что глаза не врут. И опять убедил.

— Подсказок не ждать? — спросила она.

— Голой будь. Вот и вся вводная. И назад ни шагу. Позади Барнаул.

— Я писать хочу. Больше не вытерплю.

— Это святое!



Я широким жестом своей тренированной левой указал на дверь. Она сошла со стола, впрыгнула в спаниелей и скрылась в темном коридоре. А я дух перевёл.

Знал я, как быть дальше? Скорее нет, чем да. Уверен был только, что нужно приложить все, что есть, силы к тому, чтобы отделить зерно от плевела, очистить возникшую ситуацию от моих и прочих наслоений. Сто раз уже мелькнуло, что да гори оно всё огнем; трахни её уже поскорее во всю свою прыть, да и трахай себе на здоровье, пока не надоест, сама ж напросилась; но вот так как раз поступить я и не желал, да и не мог, полагаю; больно уж давно у меня, еще с юности, в обращении мой негромоздкий, но твёрдый кодекс, и по нему девушек мы сроду не обижали, а в защитниках мы у них, в сострадателях; скольких выручил из дрянных ситуаций, счёт потерян, да и не считали, наш бусидо нам не велит. Слыву с юности хладнокровным под напором угроз и бедствий, ну, а тут ситуация новая. И куда заведет? Угадать, брат, не угадаешь. Будто шулер по недосмотру сдал мне в прикуп свою же карту, и теперь в игре два туза червей. Или сколько? Вот пускай потоком определится. Ты куда тут? В поход за счастьем? С Новым годом и с новым счастьем? Делай, брат Южанин, что должно, и будь что будет.

Она ступила сюда в свет из темноты с махровым белым полотенцем в руках; не моим, из своего багажа. Показать, что мылась? Заслониться хотя б на мгновений парочку? Скинула спаниелей, в глаза не смотрим, и пружинисто, решительно забралась на стол; промакнула себе между ног, демонстративно, без суеты, и отбросила полотенце в кресло поверх

своих одежек. Посмотрела в глаза. Еще одним иным взглядом.

— Неужели? — сказала. — Или мне кажется?

— Что?

— Неужели вы за меня сражаетесь?

Нехреново для новичка.

— Да, пожалуй, что за себя. Я не против, коль пригождается.

— А дадите подушку?

— Сядешь? Устали ноги?

— Представляете?

Подушек тут у меня гобеленовых в тонах приглушенных валялась дюжина. Я взял с пола две и забросил ей на стол. Она сложила их одна на другую, примерилась, и я кинул ей третью.

— Замечательно, — сказала Багира и уселась на них, и не по-турецки, и не по-русалочьи, а просто на корточки, на наши простые, как в детстве, и открытые корточки. — Так годится? Правда же?

Отлучившись по нужде, смельчачка набралась духу.

— Отваги добавила, пока ходила?

— Думаю, да. Только вот ноги ватные.

— А стыдка бы нам всё ж? В медицинских целях.

Чтоб кровь разогнал.

— А вы посмотрите мне сюда.

— А я что делаю?

— А вы то смотрите, то не смотрите. А вы подольше, уприте взгляд свой. Уставьтесь, простите. Можете?

— Любой каприз.

Я придвинулся вместе с креслом вплотную к столу, к ней вплотную, к голой на корточках девушке нараспашку.

— А ну-ка, ну-ка, поглядим. Что здесь у нас?

И я уставился; попросили ж. Упёр свой взгляд моей гостье ровнёхонько в просерёдку.

— Ну, и когда краснеть будем?

— Так давно уже. А вам не видно?

— Что? Губы твои срамные? Вижу. Вот же названьице, да? Ну куда ж еще посрамительней? Вот же социум, ханжи, обалдуи. Чтоб им пусто. Так что скажем, врата утех твои, да? Сердцевиночка вождедений. Вижу их. Её вижу. Очень даже. Сама-ка глянь. Как? Она? Не напутали? Так в неё мой взгляд и упёрт. А зарделась чтоб, так не вижу.

— А вы света добавьте. Тогда и увидите.

И я, поколебавшись, решил, что совет неглупый. А за иронией, как помним, без экскаватора мы больше ни-ни. И зажёл я люстру и второй торшер, и даже прихватил с полки фонарик, подарок Баранова, и вернулся в кресло. И увидел, что в самом деле у Багиры лицо пунцовое; и пунцовой сделалась шея, и пунцовыми стали груди. И во мне заржал жеребец. И фонарик не пригодился; ни маяк, ни софит с прожектором. Потому как бухта рукой подать; позади все отмели с рифами. И впервые за долгий срок, за такой, что какой не скажется, вспылал я чистым желанием, отрешенным от всякой горечи, от досад и похабств с отместками; мой Улисс во мне, домой воротившийся, с большим луком своим управился, тетива тугая натянута и готова звонко стрелу пустить. А Багира мгновенно чувствует; уловила мое восстание, и прибавилось ей пунцовости. Предпочел

я всё же себя удержать от порыва, прыжка безоглядного. И отпрянул я вместе с креслом от своей обнаженной гостьи; спинка кресла упёрлась в полки; пускай книги мои разом все, целой армией, помогают мне в новой стойкости.

— Теперь видите?

Я всё же щелкнул фонариком, дабы занять себя. И направил невидимый под яркой люстрой луч ей туда на корточки, откуда расходились вверх к коленям гладкие смуглые бедра; и округлый световой зайчик прильнул к ней там, изогнувшись подстать всякой прихоти в том ландшафте; и я повел фонарем, и зайчик ей там попрыгал.

— Щекотно! — сказала она и словно всхлипнула. — А вам?

— Мне тоже.

— Вы никогда не врете?

— А ты?

Она пожала плечами. Я выключил фонарик. Она пересела с корточек в полулотос и умостила ладони на коленях.

— Вам, думаю, нет. Никогда не вру.

И тут часы из тёмного коридора, мои любимые, дедовские, а теперь мои, высокие, выше меня, часы с тайником, всхрапнули, словно всхлипнули, Багире подстать, и врубили нам боммм! по часу дня.

— Два часа уже не врешь, значит, да? Так выходит? Устала?

— Не врать? Нет, не устала. Нравится.

— А голой быть передо мной? Себя мне тут в чём мать родила демонстрировать нараспашку? Оно как тебе?

Она перевела дух, протяжно и контрально.

— Вот пока не спросили, думала, устала. А вы спросили, и поняла вдруг, что нет, не то. Не знаю что. Но не устала.

— Может быть, уже тоже нравится, как не врать?

— Ну, не знаю. Я не готова так это вам сказать. Наверное, всё же как-то иначе.

Я кивнул ей в ободрение. Похоже даже, что оживилась.

— Видно вам теперь, что разжала зубы тому бульдогу?

Я кивнул.

— Даже голову ломаю, какие краски смешать, чтобы цвет на полотне передать. Пунцовый на смуглом.

— А знаете? Такое чувство, будто птицу из клетки выпустила. Мечется на радостях ошалелая. Клюется на радостях.

Она улыбнулась, и ей зачлось.

— Стыдок птичка бойкая, — сказал я. — Стыдок-птичка!

— Хватит нам одной? Правда же? Пускай хватит. А то ж заклюют.

— Не тревожься. Стаи не требуется. То уже стыдливость получится. Ну, а ей любая дура окучена. Не приветствуем.

— Поняла.

— Нам стыдок сюда. Он наш сторож-предохранитель.

— Я думаю, я знаю, о чём вы.

— Мы, Багира, за знанием и за чувствами. Ты ферштейн? Так что знать себе знай. А прочувствуй до закоулков. Пусть повычистит.

— Я согласна. Но я продрогла. С этим как? Дрожать, не скулить?

— Обнаженная и дрожащая. Эротично и романтично.

Я взял из кресла у глобуса и бросил ей свой вчерашний свитер, и она проникла в него проворней любой пантеры.

— Ох, — сказала она. — Это оххх. В нём вас первый раз и увидела.

Я придвинул кресло снова к столу, уселся и закурил. И взирал сквозь дым на метаморфозы. На нее такой внезапно уют обрушился, на Багиру в свитере, там под свитером, какой может случиться с мороза да у камина, да с большим глотком грога уже внутри; он и в сон поманит сладко, и язык без костей вам сделает. Прозвучало контральто без голоса, влажным бархатом из-под свитера.

Ты запал на неё, боец? Западаешь? Будь как будет. Да, Дар Событий? Он мне с люстры не подмигнул. Я курил и, пожалуй, маялся, потому что взял вдруг устал как чёрт. Верный признак того, что в распре с собою. Её грог на меня подействовал под контральто. И я сказал:

— А часы, когда нам пробили час, я решил, что ночь, что уже час ночи. Будто напрочь забыл, с чего начинали.

— Баснословно! — она сказала. — Так со мной приключился этот же фокус. Ну точь в точь! Ну а как же так? Это что?

— Это, дуся, думаю, нервы.

— И у вас?! Шучу. Это шутка. Нервная.

И она рассмеялась. Громко, залиvisto, смехом с грогом у камина. Ай да свитер! Взамен наготы.

— А час дня, скажите, не хуже ночи? Тут у вас за такими портьерами. Правда же?

— Да всегда всё лучше чем там, где нас нет.

Она быстро переварила.

— Буду знать. Это модус вивенди? Здрóво! Просто прямо наоборот, чем они живут. Ну, все прочие.

— Не лукавь, Багира. Сама такая же.

— Как они?

— Как я. Очень может быть.

— Бог ты мой, душа, Иван Александрович! Вы мне что сейчас говорите? Хвáлите?

— Ровно то, что слышишь. Ни словом больше.

— Чудеса! Мы с вами по расписанию?

— И прибудем куда прибудем. С божьей помощью. Не споткнувшись.

Я погасил сигарету, поднялся из кресла и протянул ей руку.

— Идём.

Она встала с подушек; свитер был до колен. Я помог ей ступить со стола на пол и повел, босую, в угол на шкуру. И завёл её на ошкуя и усадил.

— Мне раздеться? Мне снять его?

— Не наскучило? Целый день раздеваешься. Погоди.

Я легонько толкнул её в лоб, и она откинулась на скатку спальника в головах и сомкнула веки с густыми ресницами. Я присел над нею, едва касаясь, и потрогал груди сквозь свитер, вежливо; и задрал на ней свитер выше пупка, и улегся ей между ногами.

— Подними колени. Раздвинь.

У меня совершенно звериный нюх, караваны учуивал за километры; в связи с этим, случается,

моему обонянию угодить бывает непросто. Ну, а тут мы только что вымыты; подогретый запах воды холодной, а еще орехов, едва созревших, и сбежавшего молока, и пантеры запах, пантеры в клетке; у меня в Каире была пантера знакомая в зоопарке, красавица, со зрителем был в приятелях, часто в гости к пантере хаживал, а она меня привечала, так что знаю, как пахнуть может. Я прижался губами Багире к вагине, к её апексу, где всё сходится, и подул ей на черные волоски, и провел языком по её губам и уткнулся опять же в апекс, и лизнул ей там, не всерьёз, дразнясь, и проделал это еще, и еще раз, и дождался; она изогнула спину и вздохнула жалобно, и опять. Опустил ей колени и оседлал их. Наклонился над ней, и к устам приник её алым и объял их первым с ней поцелуем, на манер, что в английском зовется smacker, понимай, что со вкусом; и свалились мы в затяжной, из разряженной стратосферы, может, даже без парашюта, минут на пять, никак не меньше, так, что сам чуть не задохнулся; нас подняло и опустило; подхватило и передвинуло; ну не шура тебе ошкуня, а ковёр тебе самолёт.

Отдышались, никак не сразу; но теперь при глазах распахнутых; в них теперь бы не потеряться, ну, хотя бы не утонуть.

— Мы летали? — спросила гостя просевшим голосом, перегруженным, но зато никаким не шепотом, и за это ей сто очков вперед; нам гламуров тут не хватало!

— Ну, выходит, размяли крылышки.

— Кто-то выручил, когда падали?

— Может быть. Мой верный ошкуня.



Она провела ладонью по медвежьей шкуре, белой в желтых подпалинах.

— Всегда знала, что у меня крепкая психика. Очень крепкая. А вот же, вот только что, ну просто с ума сошла. С ума свели.

— Да? Выходит, что засади я тебя, как положено, так и психика б устояла? Так понимать?

Она вздохнула.

— А не можем знать. Или вы можете? У вас всё так, да? Что ни сделаете, а уму на выход. Я угадала?

— Проверять надо. Но сейчас не станем.

— Почему?

— По качану.

— Мурыжите? Как адепта перед таинством.

Я рассмеялся. Удачно сказано. Подвёлся на ноги, протянул ей руку.

— Подъем, адепт! Проголодалась?

— Ужасно!

— Вот и я наконец. Время ланча.

И часы пробили нам полчаса.

— Что со временем творится! — сказала Багира.  
— Просто уму непостижимо.

— Так на выход его, сударыня, ум твой. Раз от него никакого толку. Одни предрассудки.

— А стыдок при себе оставим? Так же? Птичку бойкую.

— А то!

Я впервые потрепал её по макушке, возвращая, и по затылку с конским хвостом. Она шагнула босиком по шкуре и положила мне на плечи кителя ладони, как эполеты, а я сквозь свитер взял её за талию, приподнял и переставил на метр от себя.

Думаю, если практиковать недоступность изо дня в день, то может и увлечь за счёт новизны.

— Едим, — сказал я.

— Приготовить?

— Ну, дерзни. А что?

— Омлет.

— Не люблю.

— А глазунью?

— Сто лет не ел. Так яиц нет.

— Есть. Я видела.

— Да? И где же?

— Показать?

— Дерзай.

Она скользнула ступнями в спаниелей и пошла впереди по тёмному коридору.

Ну, дела! Это я у себя в доме, в этой огромной, от деда доставшейся да так толком и не обжитой нами с Лидочкой квартире на пять комнат, с чуланом и антресолями, шагаю тут по-хозяйски, как осёл, на экскурсию по своим пенатам, ведомый незнакомкой на выданье, надо полагать, за меня, но мне что-то пока охотка не подспела; только же вот прежнюю в Барнаул спровадил, следы еще не простыли. Столько всего в пучок, что мысль об одном начинаешь думать, а заканчиваешь о пятом. А проводница моя голоногая еще и контральтит без комплексов и оглядки.

— Он нам столько, хозяин, припасов оставил, что на месяц хватит.

— Нам?

— Ну нет, вам, конечно. Но про меня уже тоже подумал. Вчера поутру.

— Даже так?

— Ну да. Тоже лучший друг.

— Кто б уже сомневался.

Мы вышли из темноты на Т-образный перекрёсток; направо длинный коридор под тусклой лампочкой, в конце его кухня, а справа и слева по три двери; справа в гостиную, в спальню и в Санькину детскую, а слева чулан, ванная и туалет; а пойдём с перекрёстка прямо, так упрёмся скоро в прихожую, но туда по дороге ещё дверь, по левую руку, и за ней у нас комната с пылью, через стенку с библиотекой; тут у нас всего понакидано, как на даче на чердаке. Полагал я, что мы сюда. От входной двери близко, да и прятаться в том гармыдере, ну просто не бей лежачего. Но мой гид свернула направо в тусклый коридор, и мы миновали две двери и вошли к Саньке, только его тут больше не было. Зато теперь тут, действительно, находился склад больших и поменьше, но тоже не маленьких, картонных коробок, и поверх одной из них и в самом деле стоял лоток с яйцами.

— В холодильник некуда, — сказала Багира. — Давайте съедим.

— Как можно!? Яйца! Зубами! Им же больно.

Она, если и оценила шутку, то виду не подала. Или подала, да я не распознал. Эти припасы от Баранова, от щедрот моего друга боевого, они меня для начала, сказать поточнее, обескуражили. Сконфужен, пожалуй, был. Как ни ловчи, а в нашей ситуации, шаг в сторону, и что угодно может запахнуть дурно. И, чёрт возьми, ханжой сроду не был, да и вычитал давно, что дары надо легко принимать, с дорогой душой, а не конфузиться, а то гордыню тешишь. Так вроде ж и научился. И вот же ж! Окучили, благодетели, на отъезд, меня не спросив.

И столько здесь привходящих всяких, что чёрт ногу сломит. Ну, он, пускай, а я не стану. Ни ногу, ни руку, ни зуб, ни лоб. Я с утра себя, пожал'те бриться, полюбить затеялся. И вот, пожал'те бриться, посыпалось. Одно за другим. Высокий вызов. Пожал'те бриться.

— Ну, положим, не на месяц, — сказал я. — В неделю уложимся. Новый год. Знаешь?

— Когда?

— Да как раз где-то через неделю.

— А я не в шутку спросила. Подумала, что у вас и Новый год, может стать, не как у других.

— Сарказм?

— А вот нет же! Вот не верите ж. Вот от души ж вопрос. Ну, с вами ж вправду не угадаешь!

— Замнём для ясности. А ты, кстати, где встречать думаешь?

— Новый год? Вот это сарказм!

— И тем не менее. Планы каковы?

— А что? Сами знаете. А вердикт-то за вами.

— Я спрошу еще раз. И потом баста! Сове́рьшь, пропадём.

— Я не стану врать.

В опустевшей Санькиной комнате с прибывшим тут складом коробок с продуктами беседа наша между гостьей в моем, повыше колен ей, свитере на голое тело и мною в с иголки чёрном кителе и таких же брюках могла бы сойти для сцены из готического водевиля; а нету такого жанра, так сейчас, блин, будет.

— Вот это всё тут. Да? От щедрот господина укротителя. Друга и наставника. А ты к этому как? Каким боком? Весомое приложение? Да или нет?

— Нет, обещаю. Я к этому никак. Я сама по себе.

— Да? — я задрал на ней свитер и, склонившись, поцеловал впервые её грудь, оба соска; тоже не всерьез, но и не по-сухому; она запрокинула лицо в потолок, и ознобом её пробрало. — Допрос второй степени, — сказал я.

— Уже созналась.

Я отпустил свитер, и он, словно кольчуга, тяжёлый и надёжный, скользнул вниз и снова сокрыл её почти до колен. Багира перевела дух и посмотрела мне в глаза.

— А встречай, дуся, здесь.

— С вами?

Не стал я потчевать её ни «нет, с Папой Римским!», ни «нет, с Мао Цзэдуном!», обошелся даже без Чапаева с Джанни Моранди, а ответил вот как:

— Со мной.

Представляете?

— Приглашаю тебя, дуся, разделить со мной этот короткий праздник жизни. Помоги мне сожрать это всё и выпить. Повкуснее. Да по-весёлому. Поможешь?

Она зажмурилась. Полагаю, чтоб слезу заново не пустить.

— Давай, дуся, встретим со мной Новый год, как еще никогда не встречали. Ни я, ни ты. Давай? Если нету других планов.

Она прижала ладони к лицу и всё-таки разрыдалась. И кто бросит камень? Сами нервные. Достал из кармана платок, специальный, для кителя, без монограммы, но тоже батистовый; вот же годик выпал, чего только ни напридумывал себе в укрепление духа. Платок вымок быстро, но плач унялся.

— Простите. Я не нарочно. Много нового о себе. Да? Как полагаете?

— Я полагаю, — сказал я вслед за бардом, — что всё это будет съедаться. Я полагаю, что всё это надо сожрать.

Она тихо рассмеялась, всхлипнула тихо и опять рассмеялась.

— Верно понимаю? Аудиенция до Нового года? Вы мне дарите?

— Верно, дуся. Только не надо «а потом?», ладно?

— Я не собиралась. Честное слово.

— И молодец. Потому что туда дотянуть еще надо. Верно? Изо дня в день. Восемь дней. Не считая сегодня. Так что какое потом!

— А сегодня не считается?

— Ну да, не станем. Спишем на что-нибудь. На встречи-проводы.

Она улыбнулась через платок, сквозь унятые слезы, и сказала:

— Списать его! Согласна! На курс молодого бойца. Да?

— Ну, тогда уже бойцов! Меня не забудь. Тоже ж перепадает.

И как только я это ляпнул, она взяла вдруг да ахнула. Она так и сказала:

— Аххх! Вот же вы же ж!

И с пантеровым полушагом, — я и пикнуть не успел, — поцеловала меня так, как меня целовали только дети. Самому б не разнюниться.

— Ну и где твоя яичница? А, дуся?

Она схватила лоток с яйцами и какую-то банку из коробки и выскользнула отсюда.

— С ветчиной? — крикнул я ей вслед.

— Ага!

Я взял тайм-аут. Присел на Санькину кровать и попытался в себе унять любые избытки — и прыти, и меланхолии. Доброе старое самовнушение; с него-то все когда-то на заре и начиналось.

Работаем.

— Хочу договориться, — сказал я, заходя в кухню с Багирой у плиты в моём фартуке поверх свитера. — Ты моя гостья. Это понятно?

— Думаю, да. Признательна вам.

Я поменял снова, на сухой, стул под форточкой и опять перевесил барановский свитер.

— Ну вот гостьей и выступи. Не надо кем-то еще.

— А можно дерзну, как говорите, еще и домработницей? Вот позвольте.

— Договорились.

— Правда? Вот вам понравится.

— Хорошо бы.

Она весело рассмеялась и повернула ко мне лицо, мотнув густым хвостом, и посмотрела в глаза мне весело.

— У меня такая эйфория! Знаете? Просто распирает. Болтать хочется. Ну без умолку.

— Так болтай себе на здоровье.

— Так страшно! А вдруг не в ту степь заеду.

— Так не болтай.

Она рассмеялась.

— А вам понятно, что со мной? Правда же?

— Ну, — сказал я. — Догадываюсь. В меру сил.

И она опять рассмеялась, счастливая, аж вдруг юная, и отвернулась к сковороде.

— Давай уж, раз так, дуся, накрой нам в библиотеке.

— А будет сделано. А с удовольствием. Можно так?

— А то что-то мне моя кухня поднаскучила со вчерашней ночи.

Она вздохнула как-то по-музыкальному.

— Так уже и буду Дусей? Да?

— Это просто дуся. С маленькой буквы. Ферштейн? А будешь ты, полагаю, нет, не Дусей. А будешь ты, полагаю, Саррой.

— Саррой?!?!

— Ну да. А кем же? С детства нравится. Еще с Фенимора Купера. Да вот пока не выпало ни к кому приспособить.

— А зачем? Просто любопытно.

— А угадай.

— Это в рамках дрессуры? Угадала? Ну, не в схиму же! Или как?

— А неглупо болтаем, да?

— Благодарю.

— Any time. А затем, Багира, что Багира это очень красиво. Кто бы спорил? Багира, Багира, это просто великолепно. Но не на каждый день. Пафос забодает.

— Да замучается забодывать! — воскликнула моя гостья. — Рога пообломает и удерёт.

— Вот когда пообломает, — сказал я. — А пока хотя бы затем, дуся, Саррой надо, чтобы демонов запутать. Чтоб не нашли, коль удумают.

— Сарра! — сказала Багира, возясь с яичницей. — Красиво будет. Да? Но чует моё сердце, ходит мне тут в Дусях. Или просто в дусях.



Это было в точку, и теперь уж *меня* смех разобрал.

— Человек предполагает, — сказал я.

— Ага, — сказала Багира и добавила с бесподобным, с «Привоза» нашего, выговором. — *А Боже допомагає!*

Я рассмеялся.

— Да ты и вправду на мове шпилишь! Не хуже чем я на суахили. Откуда?

— Так русская ж! Помните? Татары, алтайцы и бабульки обе-две с Украины.

— Мать честная!

— Я ж вжэ ж казала, що мóжу.

— Однэ діло, дуся, казаты, що мóжу, и зóвсім інша річ балакаты як балакаешь.

Она засмеялась.

— Ну, теперь верите?

— А чего тут верить? Колы чўты.

— Як рэвэ рэвўчий?

— Ну вскачь пустилась! А «Заповіт» одолела сегодня за ночь? По программе был?

Она вздохнула по-протяжному. Всякий её вздох отправлял меня сегодня напрямиком к моржу Киплинга, хотя очевидно, что у неё выходило повеселее.

— И с чего начинать? — вздохнула она. — Да?

— Исповедь с покаянием?

Она кивнула.

— Как-нибудь, дуся, с божьей помощью.

— А получится?

— Absolutely! А сейчас давай отсюда исчезнем.

Что-то мы тут застряли.

И часы пробили нам дважды.

23 декабря, 1991, после двух пополудни.

*Выпьем, Сарра, где же кружка? Rocky Raccoon.*

*Трусика силы. Come together right now over me!*

Я прихватил пару тарелок с вилками и ушел к себе в библиотеку.

Багира возникла тут вслед за мной в спаниелях и свитере, и с такими из-под него коленками, что у меня тут впервые, а, может, и не впервые, дух перехватило. Баранов бы с Репой мне б указали, что два «тут» по соседству, мол, не фонтан, что мог бы и половчее заехать. Вот пускай сами и заезжают, блюстителю словесности. А по мне, так сгодится. Предпочтем тут невымученность супротив как раз антиподов ей. Вздохнем посвободнее в новом стиле. А еще я увидел её лицо, и оно было заново незнакомым. Подушки на пол. И Багира протёрла влажной тряпкой стол до полной его сверкучести. И умчалась на кухню. И вернулась со сковородкой под крышкой, с подставкой под сковородку и с полотенцем под подставку. И стало мне ясно тут, да, господа, опять «тут», а не где-нибудь, что за мной уже давненько никто толком не ухаживал. Не угождал мне по-свойски, не воздавал мне почестей. А не я ли их, руку на сердце, заслужил за год уходящий, а? Сейчас поглядим.

Крышку в сторону, и пар ароматный над чудом двенадцатиглазовым; дюжина солнц рассветных на ветчине с луком и сладким перцем. Нож моя прерогатива.

— Дай сюда.

— Я управлюсь, позвольте.

Не дал. Сверху вниз и слева направо. По три глаза нам на тарелки, остальные опять под крышку. Ну, поехали. Налетай. За ушами треск. На душе тепло. Слава богу, проголодался.

— Не похвалите?

— Почему? Хвалю. Соль давай тащи.

— Принесла уже.

— Так вопросов нет.

— Я решила сдуру, что вы не солите.

— Да не сдуру. И так бывает. А сегодня соль.

— Против чар?

— Твоих?

Тут мы плечиком пожимаем. И вообще всё как-то по-мирному. Вот и плечико из-под свитера. И немудрено. С голодухи горячий завтрак в третьем часу пополудни кому хочешь нервишки поуспокоит.

— Нет, Багира, не против чар. Вид диеты — разнообразие. И его частный случай — а всё, что есть.

Она весело засмеялась.

— Я люблю вас! Простите. Вы просто чудо!

— Прожужжишь мне уши?

— Не прожужжу. Вот увидите, правда. Я очень сильная.

— Поживём, — сказал я, — тогда увидим.

— Для меня просто музыка. Поживём!

Я расхохотался.

— Ну ты дуся! Своё не упустишь?

— Сами ж пожаловали. Шанс всей жизни. Целых восемь дней.

— Шанс всей жизни! Мороз по коже. Слушай, дуся, давай без пафоса. Я устал, как чёрт. Очень трудный год. Трудных пару лет. Все одиннадцать. Да последних так лет пятнадцать.

Засмеялись впервые хором.

— Ну, тогда уж все сорок два.

Нам смешно. А вправду ж, не попечалишься.

— Ну, вам видно, в кого я втрескалась?

— Как увидишь? В твоих глазах?

— Точно! В них и смотрите. Не пожалеете.

— Эх, ну что ж за привычка вредная! Не корми ты меня посулами. Это ж глупость! Ты не умна?

— Вам решать.

— Так тем более. Пораскинь мозгой. Пожалую я, дуся, вот в глаз тебе зыркая, или не пожалую, нам про то с тобой, дуся, неведомо.

— Я не спорю.

— Не дано нам, Багира, знать наперед.

— Знаю.

— А дано нам верить. Дано надеяться.

— Ну, а как мне быть? Мне ж пробиться к вам. Себя доказать. Как успеть за короткий срок?

— Подсказать?

— Посмеётся?

— Над кем?

— Ну, над глупой провинциалкой.

— Даже так?

— Угу. Возомнила ж себе пробиться в спутницы к Дионису. Да?

— Что за речи! Спецподготовка! The homework's been done, дуся, thoroughly!

— Uh huh, my Lord. Uh huh.

Ну вот, и кто б мне уже сомневался, что из беседы нашей с Барановым безразмерной она, Багира Фаллалеева, выходит, почерпнула себе всё, что можно и нельзя, и еще по чуточке и вприпрыжку.

И в самом деле похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи».

— А ты делай, Багира, и будь что будет. Вот и вся подсказка моя тебе. А посулами не поможешь. А скорее, что навредишь.

— Я слышала. Постараюсь.

— Ну, по добавке?

— Я всё. Давайте вам положу.

Я позволил.

И вот ломал себе голову опять и ломал над тем, над чем ломал её же два крайних дня, а именно, что просто, как у Гамлета, выпить или не выпить, и вот доломал наконец.

— Выпьем, Сарра! Где же кружка?

Если её и накрыло ударной волной от первой Сарры по адресу, то она не дрогнула, а поднялась степенно из кресла в новой плавности и выступила в поход по коридорам на кухню, качнув под свитером бедрами.

— Тогда и лимон уже! — крикнул я ей вдогонку.  
— И вообще!

Бокалы принесенные сверкали чистотой и просились наполнить их содержанием. Я принёс со своего стола початую бутылку «Камю», из которой потчевал по утрам Самурая, и вытащил пробку.

— Будешь?

— Ну а разве отказ принимается?

— Запросто.

Распахнула глаза.

— Вы не шутите?

— Абсолютно.

Аж руками всплеснула.

— Ну небывальщина! Да у вас что, Иван Александрович, в самом деле изъянов нету?!

— Разумеется. На фи́га они?

Смех задорный.

— Тогда я чай!

— А бокал себе на фи́га несла?

— Так я ж думала, что экзамен.

— Ну тогда плесну. Не подавишься.

Вот и жар в лицо.

— Не поспеть за мной?

И слеза в глазу, и растерянность.

— Ну, а с кем, ты думала, тебе выпало?

Головы кивок и ладонь к щеке; а другой рукой бокал протянула.

— Поставь.

Поставила.

Капнул ей и себе налил. Пожалел обоих поразному. Всё решить не мог опять, пить, не пить; и решил не решать, а выпить.

— С приземленьцем.

— До дна, да?

— Не смеси. У тебя напёрсток.

Звонко чокнулись, и лучи из глаз. Хорошо, браток, что не искры. Сделал паузу, как на ринге, когда ждут, что сейчас ударишь; ты ударишь, но не сейчас, а тогда, когда ждать устанут. На такой вот манер сам с собой сражаюсь, не с гостьей; надо ж выпить, как для себя, а не против любых обстоятельств; обстоятельства принимаем, с ними спору нет. Я позволил себе наблюдать без спешки, как гостья управится с коньяком. И глоток её мне понравился. Вот и мой черёд наконец, без упреков и с удовольствием. Так когда-то мог. Опять научись. Эту

сотку «Камю», что меня заждалась, в пять глотков вобрал, аж зажмурился. Ну, давай, христосик, по жилкам да босичком! А вдогонку лимончик с сахаром. И капусточка. И грибочки.

— А они откуда? От благодетеля? Тарабанил из Барнаула?

— Нет. У вас нашла в холодильнике.

— Блин, заныкались в кутерьме. С дня рождения. Восемнадцатого.

— Ваш?

— У Лидочки. Черва наша. Король червей.

— Почему король?

— Потому что не королева.

— Это вы в сердцах?

— Это я по колоде карт. Тоже могут гороскопировать. То бишь, времечко наблюдать.

— Гороскоп по картам? А вы умеете?

— И чего я только, дуся, не проштудировал в этот год. Полагал отбиться от рока.

— Рок-н-ролл?

Она улыбнулась точно, как надо, прекрасным образом, босичком по жилочкам, жми, «Камю»!

— Ага. Буги-вуги!

— Не отвертелись?

— Сама гляди. Кто тут в кресле меня напротив? Вроде как не Лида Смолихина.

— Вроде нет. А кто?

— Так сейчас и выясним.

Я плеснул ей на полнапёрстка, а себе севастопольский шалобан. Вот еще окажется, что и шутит она подстать Ваньке Южанину, королю шутов, что тогда? Может скучно сделаться. А еще может стать карнавал взахлёб. Ты бы как хотел? А никак. Прак-

тикуем принятие. Будь что будет. Вот всё приму! Обещаешь? Не зарекайся. Так тем более, будь что будет.

— Со свиданьем, незнакомочка!

— Ох.

— Закусывай.

— Постараюсь.

— И трусы надень.

— ???

— Без трусов сидишь?

— ?

— Вдруг заглянет кто?

— К нам сюда?

— И к тебе под свитер. А у нас «Камю». А я комильфо. А ты с голой пипой. И жопа голая.

— И тогда конфуз?

— А то! Прослыvem дурным воспитанием.

Я снял с набалдашника на Северном полюсе и принёс ей оттуда её стринги; и, пока ходил, вынужден был со всей своей ратной отвагой признать, что Багира сражается как пантера. Я признал. И проникся к ней. Только ну меня нафиг с таким напором; в опрометчивость вляпаться нефиг делать! Ну, а нам привыкать? Ну, скажи, что нет. Багира поднялась из кресла, а я присел перед ней и помог ей.

— С правой ножки. Подними свитер. Ну вот так.

Стринги вверх по ногам, ну, и я поднялся во все шесть свои с одним дюймоm.

— Хорошо? Не жмут? Сама одеваешься? Или служанки?

Я обнял её за её восхитительную прохладную попу и прижал к себе, и поцеловал в макушку, в густые пахучие волосы цвета шерсти на пантере, и поцеловал



её в смуглый светлый лоб. Она не шелохнулась; руки опущены. Она вздохнула, как всхлипнула.

— Я больше не могу, — прошептала мне в грудь.  
— Возьмите. Пожалуйста. Здесь, сейчас. А потом всё потом.

Я ответил ей тоже шепотом:

— Так и мне ж невмочь. Вот потрогай, — приложил к своему повстанцу сквозь брюки её ладонь. — Никакого же терпежу. Убедительно?

Она кивнула и без того опущенной головой.

— Только нету, Багира, на свете никаких «не могу, невмочь». Это ж присказки, просто присказки. Человеки их напридумали, чтоб оправдывать нерадивости.

И Багира мне в грудь хихикнула. Ай да девушка! Кто подкинул?

— Ну вот видишь. Теперь садись.

Она села. И я напротив.

— А стратегия какова?

— А ты думаешь, она есть?

— Ну, так видится. Пьесу ставите. Воплощаете крупный замысел. Разве нет?

— Это да, сударыня! Демиурги мы. И что ж видится?

— Ну, так думаю, избежать соития в первый день. Нет? Не так?

— Да всё проще! — я рассмеялся. — Вся стратегия — победить. А потом составить стратегию.

Она рассмеялась звонко и тихо расплакалась.

— Ну что со мной! — улыбнулась сквозь слёзы с улыбкой радостной. — Просто с катушек.

— Не беда, Сарра, дружок. Рискую сдать тебе не твой козырь, но всё же скажу. Ты первая, кто плачет так, что не мерзко, что прибить не хочется.

Она засмеялась громко, и тихо плакала.

— Я люблю вас.

— Валяй, коль любится. А вот что я тебе еще скажу, что решил, раз так, уже не утаивать, так ты лучше держись за кресло.

И она, мы поверим, в него вцепилась.

— Я готова.

— Ты та же карта!

— Не понимаю. Не поняла.

— Та же карта, что и у Лидочки. Тот же самый король червей!

— Матка Боска! А вы не шутите?

— Мы не шутите. Обе-две монарха червовых.

— Ну дела! Да, трусы мы надели вовремя.

— Понимаешь? Ну, чтоб не всраться и не не жить!

Рассмеялась, и слёзы высохли.

— Так а вы знали сразу? Как паспорт взяли! Потому меня и оставили?

— Ну, не надо так скудоумно. Сто двенадцать других причин, кроме этой, легко приложатся. И отвaga на первом месте. Красота и честность тоже на первом. Ну а прочие на втором.

— На втором сто девять толпятся?

— Почему? Сто десять. Король червей.

— Просчиталась! Вы всех быстрее?

— Drew first and shot.

— И всех точнее.

— And Rocky collapsed in the corner.  
Нuuuuuuuuuhhh.<sup>9</sup>

— Другим на зависть?

— А мы не скажем. Пускай не знают.

— Я ни за что им не расскажу!

И она рассмеялась так, как я еще, пожалуй, не слышал. Каждый смех её звучал для меня открытием, и знакомил с ней больше, чем раздевание. Нинкин смех бубенцами тут пробивался, как один среди всех инструмент в оркестре. Эй, Южанин, да ты поехал! С Джомолунгмы на лыжах. Куда собрался?

Мы с Багирой развеселились; наконец беспричинно, без всяких умыслов. Ай да мы! И ай да «Камю»!

— Алкоголик я, знаешь, дуся?

— Знаю только, что говорите. А самой убедиться пока не выпало.

— Ну, за этим дело не станет.

Нам смешно, как в детстве, где жизнь по плечу.

— А серьёзно, Сарра, запой штука тонкая. Как себя себе в этом мыслишь?

— Вы ж велели не зарекаться. Ничего вам не обещать.

— Быстро учишься?

— Сами скажете. Поживём?

Смеёмся.

— Увидим?

Опять смешно.

— Так давайте будем по ходу действия. Да? Вы ж правы, слова мало значат.

— Как когда.

---

<sup>9</sup> Слова из песни «Rocky Raccoon» ансамбля *The Beatles*.

— Снова правы. И тем не менее. Делом буду себя доказывать. Так же лучше? Если позволите.

— Так уже ж. Чего еще? Что мы ждем?

— Ничего.

— О! Вот это на сто очков.

Я плеснул ей полный напёрсток. И себе севастопольский шалобан.

— Что вы шепчете, когда себе наливаете?

— Севастопольский шалобан.

— Молитва? Мантра?

— Стопка такая. Гранчак. Ровно сотка. Больше не делают.

— У вас нету?

— Как нету? Есть.

— А чего не взяли?

— Так не додумался.

— Боже, боже! — она смеётся, и руками всплеск, и в глазах «Артек». — Вы же просто ну точно тот, понимаете? Самый тот, о ком я много мечтала лет! Принести?

— Тащи!

— А найду?

— Найди.

Принесла через три минуты.

— Он?

— А то!

Перелил из бокала, аж до краёв.

— Глаз-алмаз! — от Багиры аплодисменты.

— Просто практика многолетняя.

— Разумеется, — она мне вторит. — Достигается упражнением.

— Сама сказала? Или от Мышлаевского?

— Сама сказала. А слова, да, из «Дней Турбиных».

И нам весело, хоть ты тресни.

— Третий тост у нас, Сарра, за тех, кто в море! А в широком смысле за тех, кто сейчас не с нами.

— В самом деле широкий смысл. Нас тут только вот вы да я. Мы как будто одни на планете. Похоже, нет?

И часы нам пробили три. Получасье мы пропустили.

— Знаешь? Хохма. Уже с утра испытал похожее чувство. Город пуст был, когда домой возвращался. Про тебя же ни сном еще и ни духом. А уже мир предупреждал.

— Чудеса просто сыплются, да?

— Не сегодня начали. Ну давай за тех, кого с нами нет! И спасибо им!

И опять смешно. Этот тост не стал веселью помехой. Ну, и правильно. Верным курсом идем, товарищи.

— Я не знаю, а можно мне? Не рассердитесь? А давайте выпьем за Лидочку.

— Не борзей. Она тебе каким боком?

— Не скажите. Я от души. Она место освободила.

Я хотел возразить, но тут же раздумал. Так права ж Багира, чего юлить. Говорит, как есть. Ты сам так же делаешь. Непривычно, что кто-то еще умеет? Привыкать? Пожалуй, не привыкай.

— Ты права, Багира. Еще сто очков вперед. Отдышусь, и сейчас накапаю.

— Вы мне верите, что действительно от души? А не только, чтоб вам понравиться.

— А не только?

— Да, представьте себе, не только!

Смех и грех; и смеёмся аж заливаемся.

— Так за Лидку мы не потянем. Коньяк носом, дуся, пойдет. Это гэць. Давай на потом отложим.

— Гэць?! А кто он?

Еще смешней. Продышаться совсем непросто.

— Гэць? Э, дуся, а что ж твои бабушки? Это... дуся... так говорят... говорили... нам... в интернате... что за гэць тебя, Иван, укусил?!.. Означало, что вон из класса!

Хохот крутит, сипит задохом.

— Нет. Ну что вы прямо, как маленький! Надо в руки себя, Иван Александрович, взять да взять! Никаких потом. Нам аукнется.

Это ж йо-ма-йо! Говорит как я.

— Ну гляди. Поперхнёшься, сама же рада не будешь.

— Пьем за Лидочку! Пускай ей с ним повезёт! Он роскошный. Пускай ему повезёт с нею тоже!

— Так за Лидку или за Ярика?

— Ну а порознь же как теперь? Не получится.

— А ведь верно, дуся. Умнющая!

— От кого я такое слышу!

— Ну, окэй. За Лидочку и за Ярика!

— Да, за Лидочку и за Славу!

Тонко чокнулись, аккуратно, чтобы я своё не пролил. А потом смеялись без продыху, потому что гэць, потому что мы, потому что Баранов с Лидочкой; расплескал на стол добрых двадцать грамм, потому как чокнулись, не поставишь; отдышались и снова в смех; говорил же, непросто будет, но ввязался уже, держись. Подутихли, в глаза не смотрим, опустили головы над «Камю»; всё на грани — миг улучшить; она выпила махом одним, проворная, я за ней, в такую же опрометь, проглотил, есть выдох, и вдох пошёл, а

теперь лимончик, теперь грибочки; гэць к нам снова, а мы уже на подводной лодке, перископ втянули и люк задраили; гэць тык-мык и подался других ловить.

— Ну, любезный вы сударь мой! Тыщу лет я так не смеялась!

— Так за Лидочку ж!

— Ох, за Лидочку.

Нам смешно опять, но уже без гэця.

— Он ушёл?

— Угу. Он вернётся, когда соскучится.

Нам смешно.

— А вы правда на суахили?

Согласись, Южанин, пока нескучненько.

— Нет, Багира. Санскрит, йоруба, вообще бантоиды, они ждут меня впереди, на старости у камина.

— Ох, хочу туда с вами к вам.

— Ты же знаешь, дуся, хотеть невредно.

— А слова про Роки? Это из песни?

— Да, Битлы. Одна из любимейших. Вестерн-зонг.

— Разогреть яичницу?

— И так хороша.

— Положить?

— Не стоит. Всего хватает.

— А кусочек? Один сегментик сегмента.

— Ты попухла? Сказал же. Куда заехала?

— Не в ту степь. А куда ж еще!

— Так еще не вечер. А ты торопишься?

Рассмеялась, как разрыдалась.

— Нет, вы видели? Вот колотит. Суечусь, колочусь. Позорюсь?

— Да позорься, сколько получится. Всё честней, чем мордашку строить.

— Вы не шутите? Вам так видится?

— Мне так знается.

Снова слёзки, и умные пальчики поглупевшие трут глаза; и пантера шмыгает носиком.

— Я вам вот что сейчас скажу, уважаемый господин.

— Пристегнуться?

— Скажу обязательно.

— На взлёт? Посадка?

— Хочу, чтоб знали. Этот день, ваше сердце и сострадание, как бесстрашно меня через пропасть тащите, это я никогда уже не забуду, это будет со мной всегда.

— Эх, не светит не зарекаться? Так выходит? Само собой?

Она кивнула двадцать два раза.

— Не забудешь, дуся, потуги наши? Ну и ладно. Не забывай.

Засмеялась весело, и слёзки опять просохли.

— Вы живете в юморе. Это просто сказка.

— Юмор, дуся, он у Творца. Он его причиндал. Безразмерный. Ну, а нам на выбор — смеяться или рыдать.

И часы получасье нам — боммм!

— Я умоюсь. Отпустите?

— В добрый час.

Ну, и что ты теперь полагаешь делать? Дальше что? Какой подobaет глюк? Без понятия. Трансцендентно. Как у Джотто. Такой вот вам трансцендентный ноль. Мне приходится вспомнить, как я намереди по загровку гладил тигра Ираклия; ну, пришлось, ну,



вспомнил, и что с того? Там собрал в ладони своей всё лучшее, что сумел отыскать в себе на пути. Там собрал? Давай опять наскреби.

Она шагнула из тёмного коридора к нам сюда в мягкий свет торшера бодро, красивыми ногами, и с мягкой улыбкой без улыбки на умытом смуглом припухшем лице.

— А я знаю уже, что сейчас у нас будет неловкая пауза. Я правильно угадала?

— Ну даешь! Не гадал. Наверное. Неизбежное застревание в знакомстве двух незнакомцев.

Она поправила:

— Незнакомки и незнакомца.

— Это *твой* стиль так разговаривать? Или ты от меня берешь?

— А уже не скажу вам я, что откуда.

— А действительно! Поезд уехал. Столько времени уже, да? Мы бок о бок тут.

— А что, мало?

— А что, немало?

— Вас спроси, вы мне и ответите, «в самый раз, дуся». А что, не так?

— Охмуряешь? Напор и натиск?

— А об вас как горох об стенку?

— Ну, об стенку. Но не горох.

Засмеялась.

— И вы же мне помогаете! Я с ума сойду.

— погоди, не стоит. Так о чем, Багира, молчим? Чтоб неловко нам и подольше.

— А о чем? Раз молчим, так откуда ж знать?

— А вот нет как раз! А сами же знаем! Видишь? Пороху нет передать в слова. Потому неловко. А что

подумают? Что про нас, коль выскажем, люди скажут?

Она весело засмеялась.

— Вы мой герой!

— Предлагаю, Сарра, молчать неловко нам с тобой вот о чем.

— Я готова о чем угодно. Ведь молчать же! Не говорить. И не действовать. А молчать же. Я готова.

— Не зарекайся. Предлагаю тебе помолчать в неловкости о таких простых и внятных аспектах. Для начала о том, а что же получится, когда этот Южанин непрошибаемый наконец в тебя вставит свой крупный член и тобой насытится, аки зверь голодный, и вломится к тебе во все твои створы, что сгодятся ему в его буйной прыти, и пронзит, насладится и истерзает, да и выставит восвояси. Что тогда? И как после этого дальше жить? Это раз. А два — как и сколько спала с Барановым, ну и как рассказать об этом по-честному и притом чтоб Южанина не обидеть. И еще о прочих, чей член изведала. Ну, примерно так для начала. Помолчи об этом со всей неловкостью. И подольше. А я послушаю, как пульсирует тишина.

Я налил себе. Капнул ей для храбрости.

— Я уж думала, не положено. Чтоб неловкость не разбавлять.

— Так по благу.

Она кивнула. Без улыбки. И просто выпила. Ну, а мне так сам Бог велел.

Мы молчали до четырех. Я додумался скинуть китель; расстегнул сверху вниз восемь пуговиц против нечисти, снял и в кресло забросил поверх одёжек Багиры там; и предстал в широте своих плеч,

во всю ширь груди и стройности талии в черной, с бликами по изгибам, рубашке из толстого шелка со стоячим воротником. Гостья моя напротив молчала как партизанка, и в лице её, и в глазах, погод сменилось на пять сезонов. А когда часы нам четыре вбomкнули, она вздохнула и вот что произнесла:

— И вот ни разу в жизни никто еще так мне не помогал никогда. Вот что получается.

— Как кто?

— Догадайтесь.

— Как Баранов?

Она улыбнулась.

— Это другое. Сопоставимо. Но перекрывает. Сейчас уж точно перекрывает. Здесь и сейчас.

— Это комплимент?

— Это ужас и восхищение. Вот что это. А как вы это делаете?

— Что именно?

— Понятно. На дурацкие вопросы мы получим по вопросу. Да?

— Ну не совсем. Схлопотать на самом деле можно что угодно.

Она засмеялась.

— Ну вот. Ну здорово ж! И как это? Жёстко, безжалостно, слов не выбираете, а всё во благо. Если не юлить. А я юлить не стану. Хоть этому верите?

— Пока не юлишь. Правда. А дальше увидим. Это раз. Жёстко не жёстко, а гибко и вкрадчиво. Это два. Безжалостность верно видишь. Но она особая. Об ней еще разговор. А касательно слов, так их как раз, представь, дуся, подбираю. И притом весьма тщательно.

— Ну правильно! Ну конечно. Потому от них и подбрасывает как на крыльях. Все слова у вас с полным, да, пониманием. До отказа. Да, за каждое отвечаете. Это очевидно. Глупость сморозила. Прошу прощения.

— Не беда. Не последнюю ж.

— Ох, — сказала она. — Не знаю, говорят вам, нет, но вы шаман, господин Южанин. Настоящий невыдуманный шаман.

Я пробубнил под нос выходной марш Дунаевского, его начало, и вопрос о шаманстве пока закрыт был.

— А почему у вас так тепло в квартире? Или мне кажется? Вот совсем не мерзну.

— Так трусы ж надели.

— Точно. *Panties of power!*<sup>10</sup>

Опля! Это уже был явный заезд в Кастанеду, но я предпочел сейчас не заморачиваться.

— А вообще протуберанцы социализма. Тут котельная такая. Во всех домах по соседству зимой окна открывают.

— Нет равноправия? Да?

— Никакого. А еще свитер, сама понимаешь.

— Так вот с этого б и начинали.

— Так и благодетель же тебе свой подбросил тут, значит, не без умысла, по заботе, чтоб ты, значит, могла в него кутаться, коль прозябнешь тут на ветрах моих чудачеств.

Она сладко засмеялась. Да, сладко. Еще один новый смех. Самое время уже догадаться, что у неё это свойство такое её, незатёртое, сто разных смехов

---

<sup>10</sup> Трусики силы.

носить в себе на все случаи. Нравится? Ну, пожалуй, да. Эй, Иван, ты что, в мандраже залип? Напугался, а вдруг в самом деле смельчачка такая смелая? Ну, такая. Ну, в самом деле. И что? Жизнь игра или каторга на галерах? Выбирай. Игра. Так играй смелей. Веселей смотри. Помиришь с собой. Прекрати к себе, старик, придираешься.

— Что так смотришь? Вдруг спал с лица?

— Показалось. А вы про себя всё знаете? Вам и зеркало ни к чему?

— Это так я, Багира, с собой заспорил вдруг.

— Обо мне?

— Скорее, что обо мне.

— И кто верх одержал?

— Достигли консенсуса.

— Нет, вы просто невероятный! Как вам всё-таки удастся? Быть с собою и быть со мной.

— Перебежками.

Засмеялась.

— Так а что, позвольте мне на себя свитер Славы поверх вашего нахлобучить? Если что.

— Если что?

— Ну, испробовать, снова живем, на себе уют такой небывалый.

— Коньяк смелости наподдал?

— Ну а что? Мы ж знакомимся? Мы ж не врём. Захотелось вдруг. Я озвучила.

— Ты чего, дусь, на всхожесь меня проверила?

— А нельзя?

— Валяй. Тащи его свитер.

Она вернулась из кухни с барановским свитером в руках. И пока она ходила, я наставил нам с ней оценок разных.

— Так позвольте?

— Ну дерзай.

— А поможете?

Нахлобучили. Моего поверх, его свитер оказался над смуглыми коленками с моим вровень, что меня в тот миг увесисто примирило с жизнью, потому что мои сто восемьдесят пять были, как ни крути, не его всё-таки сто девяносто два, а тут просто тютелька в тютельку.

— Ну как вам? — спросила она, пожалуй, дерзко.  
— Оригинально? Или все-таки возмутительно?

— Чукча, — сказал я. — Ты, смотрю, за меня плотную взялась?

— Стих нашел. Мы ж за правду чувству? Я побуду так? Хоть полчаса.

— Не упаришься?

— Нет. Субтропики.

— Ай да Сарра! Ай да отважная! Ну, а в самом деле, а на фига?

— А на самом деле — такая выходка. Отнесём её к сублимации. Как раз сходится. Верно? Сходится? Ну и вас подглядеть в таком ракурсе — не отнимешь. Ну, а как вы справитесь с таким милым моим просто-душием? Слабины ж у вас не сыскать. А тогда вот как?

— А никак. Вариантов тут пруд пруди, но не стану, дуся. Нахавался. Так что просто подъем, на выход! Царапнулась? Теперь проваливай.

— Как всё просто! И не поспоришь. Только мне почему-то кажется, что на этот раз не прогоните. А проедете, как умеете. Даже скажете так примерно: эту выходку, дуся, скажете, спишем, дуся, на нервы и на коньяк. Так примерно?

— Примерно так.  
Засмеялась, в ладоши хлопнула.  
— Угадала! Снимать? Поможете?  
— Да сиди уже. Раз уж блажь нашла.  
— Вы не дуетесь?  
— Мы не дуемся. Мы отвагой вашей впечатлены.  
— Я хочу попросить прощения.  
— И?  
— Я прошу вас, простите мне. Я не в том положении, чтоб чудачить. Как-то так само, слово за слово. Показалось сперва забавным.  
— Понимаю. А то б не понял. Впредь не пробуй. Наскучит, выгоню.  
— Не буду больше.  
— Ты, Багира, знать не можешь, ни сном, ни духом, куда сдуру вот заступила. Пустыня Гоби.  
— Уже знаю. Думаю, поняла. Прошу прощения.  
— Проехали. Тебе капнуть?  
— Да, мне капнуть.  
— За тебя, гусар-девица! В двух кольчугах. Двух богатырей. За твою отвагу! Пускай выручает.  
Выпили.  
Часы ударили получасье.  
— Спасибо вам за всё, Иван Александрович. Не знаю, какими словами выразить. Вы инопланетянин. С планеты Любовь.  
— Я абориген, дуся. А вот остальные откуда тут, сам ума не приложу.  
Она засмеялась. Очередным новым смехом по случаю. Долгожданный «Камю» к сему часу первую пробежку по жилам завершил и теперь топтался на месте; лишь бы не в сапогах.

— А как вам пьётся? Спросить хотела. Ожидание больше ожидаемого? Или вы и тут ажур давно навели на свой манер?

— Дуся, уже верю, что умная. Уже знаю. Так что не лезь ты из кожи вон. Из кольчужек придётся рано или поздно, полагаю. Правильно? А из кожи не надо.

— А вот и не лезу!

— И молодцом. Смуглая, гладкая, живая, призывная. Она нам еще пригодится.

— Так не лезу ж! Совершенно ж сердечно справилась, как вам пьётся. От души. Не на оценку.

— Пьётся мне, дуся, пока терпимо. Но еще пока не пьётся.

— Ну вот. Не зря ж спросила? А почему? Из-за меня?

— Да своих, дуся, заморочек полна горница.

— Ну а всё же. Свалилась на голову. Без меня бы пилося иначе?

— Так уже же не без тебя.

Засмеялась.

— Да, я заметила. А вы тоже? Не показалось?

— Ты и шутишь, как тот, у кого в гостях?

— Юмор чту. Но до вас мне, право, куда же!

— Полно, дуся, не прибедняйся. Мне беседовать с вами, Багира Анзоровна, до сих пор пока одно удовольствие. А касательно коньяка не парься. На него ты, матушка, не влияешь. На него влияют лишь он да я.

— Ободряете и голубите? Чародей! Догадалась сразу. И хочу вам тоже уже пригодиться.

— Пригодишься. Не сомневайся.

Улыбнулась двумя улыбками.

— То потом, а хочу сейчас.



— Потерпи.  
Еще две улыбки новые.  
— Кто о чём! А я умею способствовать. Вот услышите, такое за мною свойство. Понимаете?  
— Понимаю.  
— Да? Не шутите?  
— Не шучу.  
— Так позвольте мне им воспользоваться. Дайте мне добро поспособствовать.  
— Коньяку?  
— Ну да. Сейчас ему с вами. Отношения вам упрядничить.  
— Ой ля-ля! Ничего себе! Бздосно, милочка. Никого сюда прежде не допускал.  
— И правильно. Потому и не лезу без спроса. Благословите!  
— Ну и ну! У Баранова все такие? Или только в высоких званиях? Начиная, скажем, с майора. С кавалеров креста за храбрость?  
Она слушала это молча, без досады, без суеты.  
— Ну, Багира! В воздухе асы? Предстоит посадка на палубу? Ту, что меньше ногтя на мизинце? На подлёте. Ну, дай обдумаю. Дай обдумать внезапные чудеса.  
Я налил себе, ей не стал.  
— А давай! Где наша не пропадала. Валяй, Багира, способствуй. Даю отмашку.  
— Слава Богу! Не пожалеете.  
Отмахнулся и славно выпил. И, действительно, не пожалел.  
— Положить вам со сковородки?  
Я кивнул.  
— Нет причин не класть. Да любой каприз.

— Вкусно?

— Вкусно.

Часы бьют пять.

Рассвет, помешкавший, во мне наконец взошел и в нормальном темпе к зениту двинул.

— Ну дела! — сказал. — А девиз мой, значит, I move faster alone, теперь, еще станется, что работает через раз? Ты сюда, Багира, и метила?

— Так бывает, другой раз, вдвоём сподручней. Разве нет?

Кивнул. И пропел:

— Come together!

И пропел ей:

— Right now!

И:

— Over me!

Улыбнулась.

— Сплошная амбивалентность?

— Точно. Чтобы не обобщать.

— И не станем! Мы ж тут не затем?

И улыбка с улыбкой и без улыбки.

— Как вам выпилось? Я способная?

— Способная. Способствуешь. А любимый способ?

— Боюсь, не угадаю, о чем вопрос.

— Не угадаешь? Или боишься? Или боишься, что угадаешь?

— Вы дурачитесь? Вы ж не пьянеете.

— Ну, во-первых, хочу напиток. Поспособствуй, раз уж взялась. Это раз. А два, вопрос про любимый способ, он простой как репа, — рассмеялся, пускай Самурай икнёт, — он простой как репка, — опять смешно.

- Он смешной?
- Сама посуди. В какой позе, сударыня, вам предпочтительно, чтоб я взял тебя первый раз?
- Ох, — сказала. — Звонок на урок? Перемена кончилась?
- Не заметил. А что, была?
- Я зарделась снова? Да? Всё по новой?
- Зарделась, дуся? Не очевидно. И так с румянцем. Коньяк «Камю». Однако, пожалуй, да, прихлынуло краски в личико. Что, дуся, стыдок пожаловал?
- А что ж еще?
- Сам? Степенный? Как велено? Без эскорта?
- Пожала плечом, одним под двумя свитерами.
- А то, может, всё же то сам срам со срамотой да со срамотищею? Кагалом к тебе тут неодолимым.
- Молчим; слова не находятся.
- Так расскажи, давай, девица, какая поза любимая. В какой больше прочих нравится запускать в себя головастого?
- Передернулась, перевздохнула, взгляд отвела; отвернулась, уставилась в глобус, в бюст барона за ним на высокой герме. Наконец сказала:
- Да по любому, чего уж тут. Да? Как получится.
- Ну прям-таки по любому?!
- Пожала плечом.
- На ваш взыскательный вкус.
- Ой ля-ля! В руце твои предаю себя?
- Кивнула.
- Так это, Багира, само собой. Вопрос давно уже о другом. А получится, разумеется, как получится. Это, матушка, аксиома.
- Так о чём вопрос в таком случае?

— А о том, какая поза любимая. В самом деле какая же промахалась к тебе в фаворитки? За короткий и яркий век твоих потужных соитий. Вот о чем.

— Почему короткий?

— Что тебе, юной, долго, для меня, для взрослого дяди, коротко.

— Почему решили, потужных?

— Ну а что, соврешь, что легко далось? Помолчим?

Ударило получасье.

— Как же всё-таки с вами страшно. И прекрасно, и восхитительно. Маг вы, сударь мой дорогой! Никуда не денешься.

— Я Южанин. Вполне достаточно.

— На спине со сдвинутыми ногами.

— О! Решительно. Сфинкс уста свои распечатал.

И по делу.

— Я ответила?

— В самый раз. Для твоей калитки как раз что надо!

— Ну а это ж откуда же как вам ведомо?!

— Достигается упражнением.

Смеха нету. Одно любопытство.

— У тебя твоя просерёдка, дуся, ближе к переду, а не к заду. Подтянул Господь. На свой вкус, видать. Вот такая вот, Дуся, штучка. Корольком зовётся, да будет тебе известно.

— Корольком?!

— Совершенно верно! А ты думала, что пиздой?

Занырнула в смех, чтоб очухаться. Поддержи её, пусть не тонет. И очухалась.

— Королёк! Как хурма, что ли, да?

— Похоже. Но не распробовал.  
Новый смех; пожалуй, что сто двенадцатый.  
— Что за песня! — смеётся гостя. — У неё между ног хурма! А налейте, не откажите.  
— За тебя, Багира отважная! Первый раз тебе здравица в этом доме. Загадай желание. Живи долго!  
— А скажите, с вами.  
— Не скажу. Живи и другим способствуй!  
И мы чокнулись, и мы выпили; и все ангелы и архангелы пробежались по жилкам нам босичком.  
— Ну, угрелась! Стащить поможете?  
Мы стащили с неё верхний свитер. Я забросил его на пустое кресло. Багира обняла меня за шею и поцеловала в щетину с одной стороны, потом с другой, потом в губы поцеловала.  
— Пахну яичницей?  
— Вкусно. Сама ж готовила.  
Она засмеялась тише шепота.  
— Хочу пахнуть вами.  
— Дерзайте и пропахнете. Так в Писании?  
Она засмеялась погромче.  
— Сказать? Вы добротой меня приводите просто в смятение.  
На это я сообщил ей, что всё сметено могучим ураганом.  
— Вы страдаете мне, словно... как...  
— Как бог?  
Она вздохнула.  
— Слов не страшитесь?  
— Страшусь. Но рискую.  
Она вздохнула, она кивнула.  
— Как Дионис. Вашей Ариадне.  
— Почему моей? Сперва Ясона, потом своей.

— Ну вот, как весёлый бог этой покинутой. Таким вот именно образом, чтоб вы знали, вы мне страдаете.

— Знаешь, Багира, ты вообще ни на кого не похожа, а уж на покинутую так и подавно.

— Правда? Спасибо. Еще скажу, да? Вам способствовать легче легкого. Вам способствовать это просто...

— Просто райское наслаждение.

Засмеялась чисто и весело.

— Да, представьте. Опять голубите?

— Полагаешь? А ну подними.

Она приподняла свитер.

— Выше. До подбородка.

Я взял её за соски и дождался их отклика в моих пальцах, их рывкового, в два-три прилива, набухания. В прежнем знакомстве с ними они показались мне цветом подстать вирджинскому табаку, а сейчас, в контакте, сюда и роза к нам заглянула свежими лепестками.

— Что чувствуешь?

— Не скажу.

Я покрутил соски в пальцах и прижал их между большим и указательным.

— А теперь?

И зажал сильнее.

Она вскинулась, как лошадка от овода. И еще. И оказалось, что не от овода; а от шёлковых крыльев бабочек. И еще поднажал навскидку, и по мягкому, и по твёрдому. Издала стон короткий; потом протяжный; и мученья в нём было не больше, чем совести в бюрократе; и прошибло Багиру негой, изверженьем необоримым, и встряхнуло, и протрясло. Она вскрик-

нула; глуше, звонче; и затихла. Я отпустил. Свитер рухнул вниз опять до коленок. Я обнял её, как товарища. Положила голову мне на грудь.

— Будем мыться?

— Пока не хочется. Отпустите в кресло. Я отдышусь.

— На здоровье. А я налью.

— Мне не надо пока.

— А кто предлагает? Ты способствуй.

— Не премину.

— Для гарема готовили? По всей строгости?

— Вы так хвалите? Или что?

— Мы так хвалите.

— Вам понравилось?

— Без сомнения.

— Не сочли меня просто дурочкой?

— А причём тут?

— Ну, кошкой мартовской.

— Что за чушь! Такую настройку выдала! Только с лютней своей и могу сравнить. Когда сам её и настроил.

— Я с ума сойду! Распирает. Лопну. Запою сейчас.

— Отдышись. Налью.

И часы пробили нам шесть часов.

— Ну очков тебе на сегодня хватит. Просто гостьей будь. Хватит бить копытом. А то правда лопнешь. Не комильфо!

— Новый галс? Какой уж тут бить копытом!

— А слова откуда?

— Не от верблюда. Галс — от вас.

— За тебя, Багира! Гости давай. И способствуй.

— Так и будем пить за меня?

— Может статься.

— Щедрый, как...

— Знаем. За Диониса! И за тебя!

Зазвонил телефон на тумбочке в коридоре. Первый раз за день. Ни разу не вспомнил. Раньше, думаю, на себя б вспылит. А сегодня нет вот, легко прощаю. Как же здорово подходить к себе с таким пониманием. Шутишь? Нет. Молодец, Южанин. Молодцы Южанин, «Камю» и гостя! Мне и Дар Событий с люстры на это же указал. Скорчил рожу, смотри, мол, Ваня, не всрись от счастья. Я в ответ с благодарностью подмигнул.

— Принести телефон?

— Откуда знаешь, что шнур дотянется?

— Подглядела, когда Баранов с фонариком ремонт наводил.

А точно. Он свалил его на пол, одно мгновение, он его потом починил за два, да еще доложил, что шнур кольцами на гвозде, а не ворохом под ногами; ажур по-флотски. Это было вчера пять веков назад.

— Принести? А то звонить перестанет.

— Так о том же, дуся, и разговор. Перестанет, сам виноват.

— Так нести?

— Не надо.

— Это ради меня?

— Это ради привала. Бивуак не требует суеты.

— Научусь говорить, как вы. Обязательно. Очень хочется.

— Скучно станет.

— А вот и нет! Вы себя не слышали.

— И не видели, не узнали.

— Вы о чем?



— Всех познал, а себя вот нет. — И пропел: — Я тебя целовал, уходя на работу, а себя целовать забывал.

Рассмеялась.

— Ну, видите? Как наскучит?

Телефон звонить перестал.

— Кто-то знающий, да? о просторах квартиры вашей. Насчитала тридцать два зуммера.

— Запиши. И подай мне потом на подпись.

Телефон зазвонил опять. И трезвонит теперь пуще прежнего.

— А тревожно, да? — сказала Багира. — Когда так настойчиво. И вообще тревожно, когда звонят.

— Всё тревожно, если тревожиться.

— А вам нет? А могут быть неприятности?

— Как узнать, пока трубу не возьмешь?

Кивнула.

— Можно каплю? Хочу за вас.

— Пожелай мне, дусечка, хладнокровия.

— Я удачи вам хочу пожелать во всё! И спасибо за то, что уже случилось.

— Ну, живём!

А пьётся и вправду здорово. Телефон звонить перестал; только звон в ушах. Ох, попрут меня, станется, с «Балаклавы». Загулял матрос. Ищи по тавернам.

— Как вам пьётся?

— Душевно. А как тебе просыхается?

— Вы про что? А никак. Потому что не просыхается.

— А позволь, — я, встав из кресла, перегнулся через застолье и чмокнул Багиру в лоб.

— Это что? За что?

— За высокий беседы уровень.

— А, понятно. А я уж перепугалась, что приставать начнете.

И хохочем без всякого, знать надо, гэця, и залиvisto, и раскатисто; сами можем, как выясняется; ну, и шутка же хороша. Не могу найти слов для её лица; наработанный навык писателя почему-то с ней не работает. Даже как-то не по себе, но не муторно, а по-сладкому, словно дали мне передышку, в том числе и от сочинительства; двести лет не бывал на отдыхе, вот, сподобился, покурортствуй; а умеешь? а не умею; так возьми, брат, и научись. Насмеялись.

— А я нравлюсь вам?

— А как думаешь?

— Нравлюсь, думаю.

— Ну и шо?

— А нишо! Пусть будет. Авось, сгодится.

Мы смеёмся, и нам тепло. Телефон звонит, мы смеёмся. Звонит долго, и с каждым зуммером все смешнее нам и вольготнее, вопреки тревогам с трезвонами. Телефон звонить перестал. А часы по своим понятиям нам пробили тут сразу семь.

— Ну и ну! — говорит Багира. — Целый час вместился в пару минут.

Дежавю. Так Ниночка восклицала в первый день вот этого самого года. Пролетел. Пошёл уже на посадку. А куда? Так знаем куда. На палубу.

— Ну и нас, вроде, тоже дверь не зажала. Он вместился, и мы за ним. Едем дальше?

— Мне б до конечной.

— Человек кузнец, дуся, ты же знаешь. А в руках, значит, что? А в руках кувалда. Может хуй отбить. Может чудо выковать.

— Сил смеяться нет.

— Так закусувай. Анекдот про английского пассажира хочешь? Это к слову когда сходить.

Мне кивок с полным ртом, а я ей конфузию про английского господина в английском поезде; едет в Шморкшир к себе, не предвидя казуса; когда Шморкшир по расписанию? в три пятнадцать утра, стоянка минуту; вы меня, говорит кондуктору, разбудите, только сплю я без задних ног, потому растолкайте, любезный, и вытолкайте, что бы я вам со сна не плёл; будет сделано в лучшем виде, не извольте, сэр, волноваться; просыпается, день деньской, поезд мчится, забыл уже, когда Шморкшир проехали; господин вне себя, он бежит к кондуктору, ну, и ну ему выговаривать, и такой геволт учинил, что вагон дрожит; а кондуктор спокойно слушает; почему вы, мерзавец, невозмутимы?! так скажу, говорит кондуктор, вот вам кажется, добрый сэр, что вы громко кричите и страшно ругаетесь? так позвольте мне вас заверить в том, что это лишь безобидный шёпот по сравнению с тем, как кричал и ругался другой господин в три пятнадцать утра на перроне в Шморкшире, я его в купе растолкал и вытолкал из вагона, как просили, правда, с трудом, вот тот, да, действительно был сердитым.

Анекдот пришелся. Смеёмся долго. Мне смешно от того, как смешно Багире. Ну, короче, веселье в гору, до вершины рукой подать. Тут моралей две. Буди себя сам, если хочешь добраться, куда ты

хочешь. А вторая вот: растолкал, так вытолкай. Изложил, потешилась гостья.

— Вы, конечно, их сотни знаете? Анекдотов. Я угадала?

— Пару тысяч, думаю. Все любимые. Но подряд не вспомню. А так, по случаю.

— Сорок два, а жизнью сколько вместилось?

— Так по осени сосчитаем. Вот, смотри, поехала новая.

— Я приехала?

— Жизнь приехала.

— Я участница?

— Ты проказница.

— Почему мне с вами так разговаривать, будто мы знакомы с до революции?

— Так любовь же. Она такая.

— Вы уверены?

— Нет. Зачем?

Засмеялась.

— Вам ни к чему?

— Ты о чём?

— Обо всём на свете. Прошу прощения. И хотела же. И мечтала же, чтоб оно вот так. Чтоб всё так оно. И оно всё так. А теперь не верится. А теперь всё кажется нереальным.

— Брось, Багира, в ступе толочь. Не вытолочишь.

— Вы всё знаете наперед?

— Нифига! Ползу по минному полю, разминирую и ползу.

— Я сейчас вам заплодирую.

— Твое право.

Аплодисменты. Звонко бьёт ладонь о ладонь. Расстегнул на рубашке пару пуговиц сверху.

— Не привыкли к почестям?

— Но люблю однако. Поддай.

Она снова в ладоши хлопает; снова звонко и как не в шутку.

— Хватит, Сарра. Пока достаточно. Надо будет еще, скажу.

Тишина. Шорох света из-под торшера. И опять звонит телефон.

— Может, всё же...

— Может, не всё же. Мы в купе, тут нет телефона. Это он у начальника поезда. А у нас тут «Камю», да ночь за окном, да душа нараспашку болтать взахлёб. Да в таком антураже, дуся, кто угодно родным покажется. И не только с до Октября. А еще с до Христа, а как же! А еще с до Потопа, чего уж там! Так что ехать давай и болтать навыворот. А то утром опять все чужими станут.

— Это ваш оптимизм? Пессимизм? Реализм? Сарказм?

— Это мой цинизм. Здоровей которого не встречал пока. Приглашаю в гости.

— Я пришла. А на поле с минами я там где? На себе волочите?

— Ну а как еще? Как прикрытие, если вдруг кто в спину пульнёт.

Она честно расхохоталась. Телефон звонил и звонил, а Багира по звону хохотом звонким, и звонить наконец телефон устал.

— Ты его, мать, пересмеяла.

— Сударь мой, а бывает вам просто страшно? Вы боитесь чего-нибудь, ну, когда-нибудь? Или всё? Избавились?

— Да не бойся, дуся, боюсь как следует. Страхов столько что поспевай.

— Вы меня дурачите?

— Дуся! Если бы. Нищеты боюсь. Одинокой немощной старости. Хворей разных. В танке не смог бы. На подводной лодке тем более. В лифте да, а в танке вот нет.

— А вы были?

— В лифте?

Смеётся.

— В танке.

— В танке? Ну, пару раз пришлось. Потому и вывод неутешительный.

— О войне расскажете? Ну, хоть чуточку.

— Чёрт возьми!

— Простите. Я не хотела.

— Да нет, дуся, полный all right. Я как раз удивился, что тебе вот как раз бы, пожалуй, мог бы.

— Неужели Лидочке не рассказывали?

— Вот представь себе. Никому.

— Почему?

— Потому что нечего.

— Для меня специально отыщете?

Я кивнул.

— Но сегодня дебют мы того, отложим.

— На потом? Если будет потом?

— Не нуди.

— Yes, Sir! Не буду.

И часы, миновав получасье, нам пробили тут сразу восемь.

— Почему не пьёте?

— Разве? А ну-ка налей, красавица, способной своей ручоночкой.

— Доверяете?

— Проверяете.

Она потянулась за бутылкой и взяла её в обе руки, и вынула пробку; и никаких сомнений в том, что делать ей это было в диковинку.

— Дебют, — сказала она. — Это *мой* дебют. До краёв?

— Половину.

Я смотрел, как она наливает и старался без суеты признать тот факт в самом деле, что она мне нравится всё сильнее, и уже сильнее, чем просто нравится. Смелый, Ваня, отважный, да? Был когда-то. Проверим заново? А куда мы с тобою денемся.

— Рука твёрдая.

— Я охотница.

— Это ясно.

— Да нет, в самом деле. С отцом хожу на охоту.

— Белку в глаз?

— На косулю, на кабана.

— Почему-то верю.

— И на медведя.

— Тоже верю, хоть слабо верится. А кто папа?

— Отец военный.

— Генерал?

— Генерал. С Барановым однокашники еще по училищу. И друзья не разлей вода.

Я решил подумать об этом завтра. Она вздохнула.

— Я себе капну тоже?

— Любой каприз.

— А сколько я уже выпила?

— Грамм пятьдесят.

— Вы серьёзно?

— Семьдесят восемь. Вместе с этим полунапёрстком.

— А сказать, что впервые вот коньяк пробую?

— А скажи.

Рассмеялась.

— Вот судьба, — сказал ей. — Позавидуешь! Первый раз и сразу «Камю». На шедевр потянет.

— Я хочу попросить вас со мною чокнуться за тот случай, что свёл меня с вами здесь. Не откажете? Не откажите.

— Случай случаем, не отнять. Но отвага твоя просто, дуся, такого пошиба, как у нас говорят, что в Одессе держит. Просто держит меня в Одессе!

— Вы добры ко мне так, как мечтать нельзя.

— Мечтать можно. Давай за случай! За него, Багира, и за отвагу!

Дзинь-дзынъ! Дружно чокнулись, славно выпили. И часы нам боммм! в получасье. А действительно ведь способствует незнакомая эта девушка развороту действия к новой жизни; и внутри рассвет, и вокруг пространство поярче стало, пробудилось к новому приключению. Телефон звонит. Я бы сам терпел, для проверки себя на всхожесть, но смельчачке явно по нервам бьёт. Я прошел в коридор и нащупал шнур, по нему добрался до штекера и изъял его из гнезда; *я разъял его с тем разъямом!* отказал возмутителю в электричестве; он себе и заткнулся на полумуммере.

— Вы ему открутили голову? Неужели ради меня?

— Пускай так. Ты же гостья? Гости себе, стало быть. Без помех гости.

— Вы герой, да?



- А кто ж еще? Разумеется.  
— Что ни шаг, то подвиг, да?  
— Мы такие.  
— Я серьезно. Не зря здесь у вас Мюнхгаузен.  
— Мюнхгаузен.  
— Почему?  
— Потому.  
— Хорошо, Мюнхгаузен. Вот не зря же!  
— Конечно же. Сподвигает.  
— Я серьезно.  
— И я туда же.  
— Влюблена в вас так, что самой не верится.  
— Любовь, дуся, зла. Пора б уже свыкнуться.  
— Влюблена в вас так, что летать готова.  
— Так летай. Потолки высокие.  
— Так летаю. Не видно? Само летается. Каждый миг влюблена всё больше, чем за миг влюблена до этого. Ну, скажите, что понимаете!  
— А чего тут не понимать? Сладкий миг рассвета восторга. Ничего еще не загублено. Всё еще впереди. Ура!  
Она плачет, она смеётся. Слёзы лёгкие, смех смешной.  
— Сколько буду жить, не забуду вашей помощи мне сегодня. Вашей помощи в этот день.  
— Напилась, охотница?  
— А нисколько. А вот честно. Пьяна по-трезвому. Сами ж видите!  
— А тогда не нуди давай. А тогда давай не жужжи. Занудишь, прожужжишь, ну и что тогда?  
— Я не буду больше. Вот пионерское!  
— Ну и правильно. А то вот ломаемся. А совсем не затем мы с тобой рождены.

— Да? Вы знаете?

— А то как же! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А ты не знала?

— Спасибо вам, что телефон выключили.

— Принято.

— Мне почему-то кажется, что никогда раньше так не поступали.

— Как? Телефон не выключал? А угадала. Так далеко еще никогда не заходил.

Тут Багира пустила еще раз слезку-две, по одной из каждого весёлого глаза, ну, а я себе сам налил, да и сам же себе и выпил; за прекрасную всегда новую жизнь, за бесстрашных в ней и за правду чувств.

— Я хочу с вами за это тоже.

— Погоди. Повторим через пять минут.

И часы нам пробили девять.

### **23 декабря, 1991, после девяти вечера до полуночи.**

*За это время Иван с Багирой успеют сходить на  
брудершафт, выльют три ушата ледяной воды и  
прознают о пользе хайратников*

— Всё, не плачу больше. Хочу умыться.  
Позвольте?

— А пойдем, Багира, справим сперва нужду.

— На ковёр? Пора?

— Зачем на ковёр? Не пора на ковёр. Туалет есть  
в доме. Не во дворе.

— Я имела в виду, меня на ковёр? На новый  
опять экзамен?

— Хочешь чопорно так? А зря. Предлагаю малое приключение.

По дороге в ванную я поведал ей, что только покойник не ссыт в раковину, это раз, и что ничто не сближает, бывает, двух разнополюх страждущих так, как совместное отправление приспиченной надобности. Она внимала мне молча. Не обернувшись. В ванной я усадил гостью на край ванны, а сам пристроился к умывальнику.

— В добрый час, моя дорогая. Спасибо потом.

Мое журчание продолжалось некоротко, потому что, помимо прочего, прибор, как его ни крути, пребывал, заждавшийся, в полунапряге, ну а тот замедлял нам проистекание. От Багиры же над ванной и звука не раздалось. Я открыл кран, помыл с мылом руки, потом нуруки, и был готов.

— Ну, как дела?

— Не получается. Не могу разжаться. Не удаётся.

— Мне выйти?

— Да нет. Я справлюсь. Получится. Подождите.

И она справилась. В несколько присестов. Я протянул ей душ.

— Не боишься холодной?

Она подмылась, она умылась; она промакнула себя своим полотенцем и там, и там. На обратном пути в коридоре тусклом я обнял Багиру за плечи под свитером.

— Ну, теперь меня смело, дуся, можешь на ты и Ванечкой. Это было на брудершафт. Нам засчитано.

— А позвольте мне, Иван Александрович, обращаться к вам на вы, как и прежде.

— Ты всерьёз, Багира? Или по-стёбному?

— Я всерьёз, дорогой сударь мой, я прошу вас. Не принуждайте меня сейчас, чтобы я вам тыкала. В самом деле прошу. Оставим как есть? Пожалуйста!

— Да бог с вами, сударыня. Выкайте на здоровье. Покажи мне тогда, лазутчица, где ты ныкалась почти сутки.

— Показать? Или можно просто сказать?

— Покажи.

— Ну, тогда пошли, сударь мой, обратно.

— Даже так? Не пойдём. Тогда говори.

— А вы думали в этой комнате, что с прихожей рядом?

— Полагаю, дуся, что именно так я и полагал.

— А я нет, не там. А в той, что рядышком с кухней. В спальне вашей наверное, да?

— Почему же там? А не тут, у входа?

— Потому что к уборной близко. А еще решила, что вы вчера ни за что туда просто так, простите, не сунетесь.

— Нечем крыть. Туше! А баул со шмотками тоже там?

— Два баула.

— Ну давай шальвары себе потеплей оттуда. А я буду ждать тебя под торшером на прежнем месте. Не копайся. А то засну.

Она чмокнула меня в щёку и унеслась назад, а я свернул в тёмный коридор и пошел на косою луч света из открытой двери в кабинет, в любимую комнату с библиотекой и всем, что надобно. Торшер в постельных тонах призвал мягко к уюту распробованного застолья, а книги с полок сквозь полумрак по-гуашному вдруг ярко глянули на меня, как после долгой разлуки. И налил я себе и ей

наконец по-домашнему, без борьбы, для согрева чувств и чтоб сердце повеселить. И сказал ей об этом, когда вернулась. А она вернулась действительно в шароварах, плотных, тёмно-вишнёвых, в моём детстве такие б назвали лыжными, ну а тут, если свитер задрать повыше, то ни дать, ни взять, одалиска зачинная для серала. И об этом я ей сказал, и порадовал оба раза.

Я поднял на ней свитер до подбородка и второй раз в жизни вкатил в уста её, шароварам в тон, свой настойчивый неизбежный, как ленивой волной без гребня, свой такой поцелуй по случаю. Что тут скажешь, как только оххх. Долой свитер с нас через голову и в кресло поверх другого; мой рубин поверх его малахита. И часы нам врезали получасье. Взял Багиру за плечи и отстранил; и насытил взгляд, не насытившись.

— А к шальварам и верх имеется? Кроме этого, от которого дух спирает.

— Обязательно. С капюшоном.

— Так скорее его сюда нам. Девять тридцать. Смена нарядов.

Она вернулась с курткой от шаровар, на «молнии» и с капюшоном.

— Вы хотите, чтоб я надела? Меня свитер ваш защищал.

— От кого, Багира? «Юнкерсы» улетели. А ты хочешь не надевать?

Она пожалала плечом по-смуглому и почти сердито.

— Захотелось вдруг, представляете? Вот побыть такой, как сейчас, под таким, как у вас сейчас, вашим взглядом.

— Похвально, Сарра. Побудь, конечно. Присядь. Побыла? А теперь оденься. А не то я в такой красоты сиянии с коньяком, боюсь, не управлюсь.

Рассмеялась весело и вжикнула «молнией» под самую выемку меж ключицами; и теперь она вся вишнёвая поверх смуглости, с чёрным, как шерсть на пантере, хвостом над откинутым капюшоном. Повторил ей тост, что ей так понравился.

— За отвагу и правду чувств.

— Спасибо, сударь, не обманули. Обещали, что снова скажете. И сказали. За правду чувств!

Нам понравилось. Мы себе понравились. И друг другу. И ай да мы!

И «Камю» пришёлся, как будто заново, ну, а то и как будто как в первый раз.

Вкрался к нам по бархату вольный вечер.

— Вольный вечер, дуся!

— Как оперетта?<sup>11</sup>

— Как рок-опера. И что делать будем?

— А не знаете?

— А не знаю! И признаться, знать, знай, дуся, знать не хочу.

— Так умеете?

— А не знаю. Вот и узнаем.

— А как узнаем?

— Да как-нибудь.

Мы смеёмся, потому что нам просто весело; и причин иных сейчас не сыскать. Ну, давай, граф Ратленд с Елизаветой, подскажите рассвету, чтоб не спешил.

---

<sup>11</sup> «Вольный ветер» — фильм Леонида Трауберга, экранизация одноименной оперетты Исаака Дунаевского.

— А хотите, я вам о себе скажу? Ну хоть что-нибудь из моей заготовки.

— А ты знаешь, Дуся, а не хочу. Как-то всё иначе поехало.

— А вы знаете, и мне так сдаётся. Предложила, скорее, чтоб не молчать.

— Раз уж ты гостишь тут, учись молчать. По любому, Дусечка, Дуся, поводу.

— Вот и стала Дусей, как говорила. С большой буквы «Дэ»? А Сарра гуд бай?

— «Дэ» не «Гэ», уже хорошо. Уже, Сарра, победа добра над злом. Значит, больше имен у тебя, чем два. Так запутаем твоих демонов, что отстанут и пропадут.

— Что ж, — вздохнула. — Причин для досады нету?

— Молодец, Багира! И Сарра с Дусей.

— А позвольте мне и для вас оберег придумать?

— Ну, рискни. До тебя уже был я Бешеным, Югом, Патриком, Декабристом и Сержантом два года на Курсах. И желательно Пупсика избежать.

Рассмеялась.

— А я хочу звать вас Мой Господин.

— Ух ты йо! С больших букв?

— Ну, хотите, с маленьких.

— Так не имя ж тогда, а должность.

— А у нас будет именем.

— Так тогда с больших букв?

— Тогда с больших.

Мы смеёмся. Смешно нам, и мы смеёмся.

— Ну, а что еще предложить нам, Дусечка, в твоих силах?

— А еще Джованни. Подстать Боккаччо.

— Ух ты йо! Годится. Уже хочу.

— Правда, нравится?

— Правда, нравится. На поверхности и сердито. В смысле, в точку и нету пафоса.

— Я балдею, честно, что угодила. А вы не шутите?

— Мы, Багира, всегда не шутите.

— Только сразу звать вас так не получится. Мне привыкнуть надо.

— Ну вот! Нервишечки? А я губу уже, Дуся, вовсю раскатал.

— Я привыкну быстро, мой господин, называть вас Джованни, мой господин.

— Всё же с маленьких?

Вздыхнула.

— Да, кажется, с маленьких. Вам не нравится? Поменять?

— Не меняй. Так лучше. Всё, Дуся, нравится. Видишь, матушка, я влюбился.

— Вы?! В кого?

— Угадай с трёх раз.

— Не шутите так. Я с ума сойду.

— Хорошо, красавица! Ни полслова больше тут про то, что Джованни, дурак, Южанин двадцать третьего декабря, умолчим про год, за неполный день на выходе из пике с перегрузкой под десять «же» от нехватки, видать, кислорода и притока крови к башке, и оттока её от башки, умолчим куда, влюбился с треском в Дусю Фаллалееву. Гусары, молчок! Ни полслова больше.

— Вы и вправду сведёте меня с ума! — говорит Багира, и снова слёзы.

— А вот это, красавица, технически невозможно. Потому что дальше свести тебя просто некуда.



— Это как? — спросила, а слёзы капают.

— А запросто. Ты прекрасно сама себе спятила на день раньше, еще вчера, когда вниз башкой сюда ко мне сиганула без парашюта.

— Да?

— Так что похер нам тут с тобой твои пробные, блин, замашки юной, блин, шантажистки, блин. Она нам с ума сойдёт! Ату их в жопу, красавица!

Слёзы больше не капают, но и сохнуть не просыхают.

— Я не то сказать имела в виду.

— Как уж вышло, Дуся. Давай поймёшь, каждый сам решает, свой конец веревки держать или выпустить. На других пенять дело праздное.

— Я прошу прощения. Не сумела выразить своих чувств. Получилось глупо.

— Проехали.

И часы нам ударили десять раз. Мы сквозь время, время сквозь нас.

— Десять вечера, — сказала Багира, себе, не мне. — Двадцать третье. Декабрь. Девяносто первый.

И просохли слёзы; контрольто заново в бархате; и лицо, и глаза, и погоды в них, для которых у слов до сих пор не выходит собраться в дельное предложение.

— А чего, господин мой, теперь изволит?

— А налей. Дебют прошёл на ура. До краёв давай. И себе как нравится.

А бутылка исыкла всё ж наконец, и хватило только на полшалобана.

— Тащи, Дуся. Там еще ящик.

Пока она бегала, вся вишнёвая, в спаниелях белых на босу ногу, вспомнил, как она наливала позавчера у меня на кухне Баранову, без улыбки,

движения как у пантеры, точны и вкрадчивы. Почему же сегодня мне показалось, что с бутылкой, чтоб мне налить, управляться ей было в диковинку? А наверное потому, что опять нервишки, и Баранову наливать это вам не Джованни Южанину, один на один. Так себе разъяснил и поднял себе настроение на такой вот беззлобный и стёбный лад. И в таком настроении её встретил и помог «Камю» откупорить. У меня шалобан севастопольский до краёв, у неё наперсток янтарный на дне бокала.

— За прекрасный, Багира, наш с тобой вечер. На прекрасной, пустой сегодня, планете.

Ах, как выпили! Словно летом в юности. Всем спасибо, кого с нами сегодня нет. Абсолютно каждому. Абсолютно всем.

— А вы Лиду любите? Да? И сейчас сильнее, чем позавчера? Я правильно понимаю?

— Ну да. И пройдёт не скоро. Может, к лету отпустит. А, может, к осени. Понимаешь правильно. Умна. Бита. Честна. Такое приветствуем.

— Про влюбились вы пошутили? Так получается?

— Вот же, Дуся, дурья твоя башка! Не шутил. Что, сама не видишь?

— Вы ударник, что ли, труда амурного? Как зовётся? Многостаночник?

— Ты в какие, дуся, пустилась дебри? С чем удумала голову мне морочить? Это ж свыше на нас нисходит. Дуся! Успевай прожёвывать! Человек приёмник. Не поставщик.

— Скольких сразу любить вы можете?

— Ну не тыц ли грыц! Скольких надо, стольких и сразу. Так понятно?

- А непонятно!
- Тебя клинит? На радостях? Аль с печали?
- Ну, выходит, что клинит.
- Так расклинься! Зачем из конфеты говно лепить?

Вздых нелёгкий; глаза на глазах свой накал теряют.

— Надо было сразу вам меня осадить, как про Лиду только я вас спросила.

— А не надо как раз, вот представь себе. Мы же тут с тобой, дурёха, за правдой чувств. А не за цензурой. Ты давай свой конец верёвки держи. Глядишь и справишься.

— Уххх, вправду клинит. Не знаю я, что со мной. Я себя такую впервые вижу.

— Не беда. Запрыгнула в шторм, так плыви давай. Я ж тащу тебя. Не брыкайся. Авось и выплывем.

— Вы специально меня влюбляете?

— Ну ты в жопу, пловчиха хренова! Ну конечно специально! Я всё в жизни специально делаю. Панимэ? Ничего не делаю просто так. И тебе, дурымбала, не советую.

Новый вздох, кашалот вздохнул.

— Нет, вы видели? Вот кошмар! Ну совсем пацанка с катушек съехала! Что ни ляпну, то хуже некуда. Вы мне верите, что это не я?

— Мне смеяться? Конечно, верю. Одержание, наваждение. И не первый раз за неполный день. Убирайтесь, проклятые демоны! Здесь Багиры нету. Ищи-свищи! Здесь одна только Дуся, и та полоумная.

Засмеялась, и снова в слёзы, и опять на смех, так, что пыль столбом.

— Собирать манатки?

— Пока не стоит. Говорю же, вытащу. Не брыкайся.

Разом стихла. Глаза погасли. Глаза вспыхнули, страх и боль.

— А вы вправду маг?

— Да какая разница?

— И действительно. Никакой.

Улыбнулась с улыбкой боец Багира.

— Не видала таких как вы. Не встречала.

— Йо-ма-йо! Ну, честно, задрали! Так *теперь* уставься уже, глазёнки выпучи! Пучь глазёнки, тебе говорю! Гляди, разглядывай. А то снова скажешь, что не видала. Не встречала? Так повстречала! Так встречайся, сучка, а не динамь!

Рассмеялась.

— Вы, маг. Простите. Не сердитесь, вы чистый дзен!

— Мне смеяться? А, может, всраться? А, может стать, что в рот ебаться? Раз уж так, что тут чистый дзен!

— Всё, кранты! — сказала Багира. — Я опомнилась. Я пришла в себя. Я больше не буду. Вот честно, увидите. Сами сможете убедиться. Я не буду больше такие коники. Исчерпалась тварь. Ей кранты теперь. Это я вам как на духу.

— Исчерпалась тварь? Да откуда же знать тебе? Ты к ней стань лицом для начала. И качай себя невпопад, как боксер на ринге, и не дай ей себя загрызть. Вот тогда с Божьей помощью, она, может быть, когда-нибудь наконец и сдохнет. С голодухи. Да от обиды. Поняла?

— Я думаю, поняла.

— А слова говорить не об этом следует. Исчерпалась тварь у неё, поди ж ты! Да поди ж ты на хер с такими заявами!

— Поняла. А можно я обольюсь?

— Над вымыслом слезами? Добро пожаловать!

— Нет, из ведра у вас.

— Тоже туда же. Добро пожаловать!

Я отправился в ванную, размышляя над трудностями земных человек, как охотятся они, блин, за счастьем, а за правдой не поспевают. Я набрал ведро, то бишь, три ведра, как себе; они тут все три у меня, одно в другом, под рукой всегда; два цинковых и одно с эмалью, пооблупленной, разумеется.

Багира зашла голой, в одних спаниелях, примостила их у порога.

— Вот тебя бы сейчас оттрахать, душа, и выгнать. Вот и был бы тебе чистый дзен, почище любого. На весь твой век.

— А нельзя, чтоб не выгнать?

— А вот нельзя. Забирайся в ванну.

И забралась.

— Значит, слушай.

— Да я умею.

— Сама будешь?

— Нет, лучше вы.

— Тогда слушай.

Проинструктировал. Окатил её со спины, окатил вторым её спереди, ну а третье вылил на голову. Лил не медленно и не быстро. Она взвизгивала то почти шепотом, а то звонко, однако в целом с хорошим вкусом, без моветона. Под конец запыхалась.

— Ой, мамочки! Ой, спасибо.

— Волосы вытри. И между ног. Вот халат тебе.  
На мокрое тело. Заработала печка?

— Внутри?

— Ну да. Не у Бабы-Ёжки.

— Заработала, кажется.

— Вот и славно.

Мы вернулись в библиотеку. Она оделась в костюм вишнёвый и в мой свитер поверх всего; натянула носки с пантерками.

— Фен не дам.

— А он есть?

— А точно, Дуся, фен укатил. Нету фена.

— У меня с собой.

— А не стбит. Теплый воздух сейчас во вред.

Принёс из прихожей вязанную шапку, натянул ей на уши.

— Приседаний, Дуся, сделай штук двадцать, а лучше тридцать. И дело в шляпе.

И оставил её приседать. Сам отправился к себе в ванную и себя окатил в три ведра. А забава знатная. Неизменно дух веселит и впрягает тело.

Возвратился.

— Согрелась?

— Полностью. Можно свитер снять?

— Да и папаху долой. Пора! Очень нравятся мне твои волосы.

— Правда? А можно мне сказать, как есть? В подражание вам, сударь мой.

— Ну.

— Они всем нравятся, мои волосы.

— Только волосы?

— Нет, не только.

— А что еще?

— А что еще? Да всё подряд, сударь мой. Чего скрывать?

— И действительно.

— Мужчины от меня вообще-то, Иван Александрович, куда деться, просто с ума сходят.

— Ну так кто б сомневался! А все?

— Ну, получается, что все. Ну, почти. Да все!

— Трудно живётся?

— Ну, непросто.

— Видишь? Вот и мне, как всем, твои волосы тоже нравятся.

Она засмеялась.

— Нет, вам не как всем. Опять чудачу? А вам зачем было?

— Что? Влюбляться?

— Под ведро ходить.

— А чтобы тебе не скучно.

— Мне не скучно. Ох, мне не скучно. А вот вам со мною.

— Не нуди. Отдышусь, и продолжим вечер.

Она чмокнула меня в щёку и уселась в кресло с ногами. Сел и я. Мне было что переваривать. Всех картинок калейдоскоп, и распущенный хвост, и длина волос, и сухих, и мокрых, их сверкание, прилегание, отирание, распушение, и касания её тела, и стекание с него капель, разных радуг на смуглой коже, её вскрики под ледяным из ведра потоком, её стойкость, её отчаяние, как смотрела она в глаза мне, как сейчас она мне в глаза глядит, было, было мне что прочувствовать и над чем поразмыслить хотя бы бегло.

— Я испортила всё, что можно? И чего нельзя тоже, да?

— Почему? Не всё. Еще есть, что портить.  
Засмеялась. Вздохнула.

— Ох, вы ангел, мой господин. А бывает так?  
Разве так бывает?

— Ну, во-первых, так есть, как есть. Это раз. А два, я еще раз предупреждаю. Не ловись ты в эту ловушку. Всех начал всех знакомств всех влюбленных встреч, когда видится всё в несказанном свете. А потом? А потом проступают другие цвета, один за другим, проступает весь цельный спектр, и видимый, и невидимый. И тогда, Дуся, что? А тогда, Дуся, пиши пропало. Потому что влюбилась ты впопыхах в одну малую часть от большого целого. И оно тебя сокрушает. Потому что больше малого, а не меньше. Поняла? Ферштейн? Я циничен. Увидь. Ну, и жестче себя одного еще только знаю я господина. Тот мне, правда, запросто фору выдаст. Но сейчас не о нём. Понимаешь, Дуся? Ну зачем ты упрямо лезешь в капкан? Чтоб потом из него же и выдираться? А, душа моя? Прозревай.

— А скажите на милость, мой господин, что со мной на этот раз приключилось? Коньяк? Напряжение? Нервный срыв? Сроду нервами не страдала.

— А на это ответить просто.

— Даже так?

— Представь себе. Это демоны. В самом деле твои, Дуся, демоны. Ты ступила на путь знакомства с собою. А они тут как тут. Под свирепой охраной их у нас правда о нас, о себе самих.

— Правда? А когда ж я ступила, что не заметила, что знакомиться стала сама с собой?

— А когда сиганула сюда вниз башкой. А когда раздеваться стала. Когда разделась. Когда голой тут



вышивала в чем мать родила, сцепив зубы, что аж скрипели. Когда я тебя всю разглядывал и ощупывал, как ценитель произведения, а не как воздыхатель и обожатель. Когда я тебя целовал, не суля романтики, и в уста, и в губы, что между ног. Когда я соски твои тискал, отмечая порывы похоти и страстишек, что прилагаются. Когда я говорил тебе грубости к месту в точку, да в таких словах, что уши бы в трубочку. Вот тогда твой взор, Дуся, и обратился под натиском перечисленного не куда-нибудь, а тебе вовнутрь. И пошел твой взор там гулять-выглядывать, что там плохо лежит, и вообще что да как. Вот тогда ты, Дусечка, и ступила на тот самый путь знакомства с самой собой. Тут-то демоны твои и восстали. Тут-то демоны твои и набросились защищать от тебя твою правду о том, кто ты есть в самом деле и что надлежит исполнить.

— Бог ты мой! Вы это всерьёз? Или просто так потешаетесь?

— Чистый дзен, Дуся. Чистый дзен.

Головой качаем и крутим волосы и не знаем, что думать нам, как нам быть.

— Ну так что? Пора настает собирать вещички и в путь-дорожку?

— Нет! Не знаю, пускай я с ума сошла, но я знаю, что вы говорите правду. Представляете? Я же знаю, и я же нет. Как такое?

— Как видишь, запросто. Так что делаем?

— Продолжаем. Я хочу к вам продраться. Умею драться.

— Так к себе продраться тебе вот выпало. Для начала.

— Окэй. Готова. Давайте, прошу, продолжим. У вас силы еще есть на меня?

— Пока что, вроде, при мне. А там видно будет.

И часы пробили одиннадцать.

— Вы святой! Вам налить?

— Да, конечно. Самое время. А святому, Дуся, так до краёв и с верхом.

Налила она, тем не менее, абсолютно твёрдой рукой. Это может в кого угодно вселить надежду. В подтверждение сочетания в себе необычных качеств моя гостья меня спросила:

— А я правильно поняла? Вот меня колбасит, меня клинит, меня корёжит, да? Я смотрю на это во все глаза. Это правильно?

— Еще как! Уже выучи это правило. Вижу все свои страхи и бесстрашна я среди них. Панимэ? Это как на ринге. Не закрывай никогда глаза, а то пропустишь самое интересное.

Засмеялась.

— Уже запомнила. Ну, а делать что? Я так поняла. От нападок не отвернуться, а зато всякий раз от них увернуться, устоять против них и не подвернуться, победить и не прикоснуться. В этом фокус? Я уловила?

Я едва не лишился речи.

— Дуся, солнце, ты вундеркинд! Это просто невероятно. Чистый дзен, сударыня! Далеко пойдёшь. Ты меня сейчас буквально ошеломила. Ты действительно чудо-киндер!

— Значит, верно? Я ухватила?

— Да не просто, а тютелька, Дуся, в тютельку! А теперь за малым дело, за практикой. А как знаем, в ней вся загвоздка.

- Вы ж не бросите? Проведёте?
- Не нуди понапрасну.
- Уже не буду.
- Вот. Желаю, пускай тебе всё приложится. Все препятствия пусть на пользу. Поняла?
- Поняла уже. Не дурная. Вот дурная не поняла б.
- За тебя, shrewd damsel!
- А это что? Не словила, I beg your pardon.
- Это, Дуся, девица сообразительна. Быстро схватывает, легко.
- Shrewd я знаю, а damsel уже запомню. Раз я shrewd. Ain't I? A ne stupid daughter of a son of a bitch. Comprenez moi?
- Je comprends. Ты shrewd. За тебя, облитая! За тебя, намокшая! За тебя, согретая! За тебя, про-сохшая! За тебя, раздетая! За тебя, одетая! И при-гретая.
- И я жажнул свой шалобан, будто в нём не «Камю» был, а любимая водка с перцем. Мне зачлось. Сам себе зачёл, и ей заодно, в смысле гостье, что во плоти, да и водке с перцем из твердой памяти. И отверг любое планостроительство; даже в малых намётках его отверг, потому что намётки эти, что казались мне поутру, да и днем еще тоже, вполне применимы, теперь уже вряд ли уложатся до полуночи. Значит, можно просто сидеть в тишине вослед ледяным на двоих купелям и вникать в пробежки «Камю» по жилкам. Вот и гостья молчанию обучается. Сколько может.
- Я вам способствую?
- Очень даже. Когда молчишь.
- Улыбнулась.

— Спасибо за ваши тосты. Не гадала, не думала, что столько сил этим дарится. А вот дарится. Прямо допинг из ваших уст.

— Хай будэ.

— Та нэхай.

Смеёмся.

— А давай, Багира, коль скоро нарушила тишину, а давай попробуем успеть что-нибудь теперь до полуночи. Давай?

— А скажу, что выдохлась? Что боюсь, не справлюсь?

— Как же выдохлась, если допинг?

— Тем не менее. Испрошу себе паузу до полуночи. Не пройдёт?

— Почему? Испроси, Дуся. И топай баюшки.

— Как всё просто, да? Мой конец веревки, да?

— А ты как хотела?

— Да как раз вот так и хотела. Да что-то боязно, сударь мой. Девушке из провинции.

— Не беда. Бояться ж можно. Пугаться не следует.

— Поняла. Готова. Труды предстоят?

— Назови их играми. Полегчает.

— Хорошо. Играем. Теперь во что?

— В продолжение, Дуся, знакомства с мужчиной своей мечты.

— Почему звучит так, что мороз по коже?

— Звук как звук, а мороз весь твой.

— Я не спорю. Моя ж веревка, её конец. Правильно?

— Не тащи ты нас в болтологию. А тащи сюда свой хайратник.

— Свой хайратник?! Это что? Труссы снова снять?

— Труссы снять, Дуся, заманчиво, но успеется. А хайратник не то, что тебе представилось, а совсем даже, Дуся, наоборот.

Мы смеемся.

— И что же?

— А ободок для волос такой из материи. Лента-резинка. Ну не может быть, чтоб у тебя хайратника не было.

— Да, не может быть, — говорит Багира. — У меня их несколько. Все нести?

И она приносит нам три хайратника, и они у неё один краше другого. Отобрали бархатный, тёмно-вишнёвый, без особых изысков, одинаковой ширины по кругу.

— Что за слово? Впервые слышу.

— Не была ты, Багира, хиппи. Пробел у тебя в культуре. Опоздала, Дуся, родиться. Не повезло.

— Но зато сюда повезло к вам, не опоздала.

— Да, сюда к нам не опоздала.

— Вам на голову. Правда ж, вовремя?

— Нам на голову в самый раз.

Нам смешно? Да уже не очень.

— Что теперь?

Я надел ей на волосы бархатный обруч, опустил его на глаза.

— Удобно?

— Вроде, да.

— Не жмёт?

— Вроде, нет. Не давит.

— Видно что-нибудь?

— Ничего.

— Замечательно. То, что доктор. А теперь сиди, Багира, и слушай.

— Наезд на уши? По-шамански?

— По-южански. Обычная депривация одного из органов чувств. Догадайся теперь какого.

Рассмеялась смехом под номером сто тринадцать.

— Полагаю, зрения. Раз глаза закрыли.

— Ну вот видишь, damsel, сообразительна. На лету схватила, не отрицай.

Похихикали тихо в преддверии неизвестного.

— А зачем, скажи нам, с тобой депривация?

— Чтобы слух вашей гостье активизировать.

— Безусловно. И продолжай.

— Осязание, обоняние, — сказала Багира. — А также еще и вкус. Вроде, всё. Все пять. Или что-то еще?

— Достаточно. Умостись поудобней в кресле, чтоб головка не закружилась. А не то коньяк, а не то стыдок.

Часы ударили полчасье.

— Матка Боска! В два раза громче!

— Всё. Давай сантименты побоку. Полчаса на всё. А потом с нуля.

— Для вас полночь магическая граница?

— Когда надо. Сегодня так.

— А вы смотрите на меня?

— А куда еще? Или думаешь, что в стакан уткнулся?

— Мне щекотно, как будто чихну вот-вот. А вам как оттого, что я вас не вижу?

— Мне, Багира, занятно. Скажу, игриво. Но помирному. Ты ж одета. Вот если б в одном хайратнике на глазах да без ничего...

— Раздеваться? Уже? Вслепую?

— А вот и нет, Дуся.

— Тогда что делаем?

— Любопытно?

— Больше боязно. Так и надо?

— Хладнокровие, Дуся, и натиск. Беседуем. Но заметь еще до беседы всё же, что раздеться уже и отдаться, уже легче, уже сподручнее, чем еще одна неизвестность.

— Я заметила. Вот же да!

— Ну и как тебе такое?

— Я даже не знаю. Не успела подумать, составить мнение.

— Странно? Нет?

— Странно, да. Но как-то лавиной всё.

— Хорошо. Работаем, Дуся. Наша практика в данный момент это наша беседа. Так что, будь добра, беседуй по-взрослому.

— Постараюсь.

— Вот и старайся. Тема наша оральный секс.

— Ох ты, господи! А нельзя без этого?

— Без чего?

— Ну, не знаю. Хотя бы без разговоров.

— И не думай, и не мечтай. Говорю же, практика. А что так? Угодили в больную точку?

— Ну, не знаю я, как сказать. Несильная сторона.

— Так и слава богу! И честь нам с хвалой. Вот давай её и таскать в зубах. Эту нашу вялую сторону.

— Можно, я повязку сниму?

— Потерпела бы.

— Ну, а можно все-таки?

— Ну, ваяляй.

Она подняла хайратник тёмно-вишнёвый на смуглый лоб, моргнула, глянула мне в глаза; и глаза её были, как у газели, кто бы что ни думал, ни говорил, как у раненной, как у загнанной, и избитость сравнения не помеха, мы же тут для себя, а не напоказ.

— Ой, не знаю уже, как лучше. Может, снова спустить на глаза повязку?

— Делай, Дуся, пока как нравится. На свое пока усмотрение.

— На свое пока? А потом?

— А потом, Дуся, суп с котом. Ну, какое потом? Мы беседуем с тобой об оральном сексе. Прямо здесь и сейчас. Никаких потом.

— Я, пожалуй, от вас закроюсь всё-таки снова.

Она стащила со лба хайратник и пристроила его на глаза.

— Ну, готово. Беседуем. На что отвечать? Вопрос какой был?

— Да какой бы ни был, уже другой.

— И какой же?

— Ты в рот брала?

— Брала, Иван Александрович.

— А глотала сперму? Или выплевывала? Или вообще мимо рта? На лицо, в ладошку, на грудь.

— Ох, Иван Александрович. Пошто девушку взялись мучать?

— Так ответишь?

— Отвечу. Вот что отвечаю. Было всё, что вы перечислили.

— И глотала?



— Глотала. Уже давно.

— Что так, Дуся? А как же с Барановым?

— А! С Барановым? Это первый прокол у вас? Или как?

— Прокол? Не думаю. Прокола пока не вижу. Это, Дуся, в беседе нашей у меня такой живой интерес.

— Я, пожалуй, всё же побуду зрячей. Вы не против? — Она подняла хайратник на смуглый лоб, растянула и переустроила бархат вишни на антрацитовых волосах; такая вот damsel из старой Флоренции, сейчас повстречается ей Боккаччо, а после напишет «Декамерон». Она проморгалась. — Нет, точно. Так пока лучше.

Она посмотрела мне первый раз просто в душу.

— Вы настаиваете на своем вопросе?

— Ну, разумеется.

— А Баранов, друг ваш Баранов, минет не чувствует. Так ответчу. Ответ устроил?

— Век живи, век учись. Про такое не догадаться. Но о вкусах не спорят. А что? Пуританство?

— Не сказала бы.

— Тогда что тогда?

— Скорее, особенность телосложения.

— Это как понимать?

— А так понимать вам сейчас, сударь мой, придётся, напросились сами, что у Славы огромный член.

— Ну и что с того?

— А с того нам то, я прошу прощения, что уста партнерши его не особо тешат. Ему подавай другое. Да, Иван Александрович, смею заметить, раз уж у нас беседа, что величина его агрегата требует особого,

знаете, к себе подхода. И оргазма, раз уж на то пошло, а достигнуть, случается, ох, непросто. Так-то, сударь мой. Спросили ж сами. Вы уязвлены?

— Уязвлен? Не вижу пока. Ты чего кусаешься? Дай подумать, сейчас поточней скажу. Нет, Багира, по этому пункту ваш покорный слуга пока безмятежен. Сам имеет бойца надежного. Пока жалоб не поступало. А минет обожаю с детства. В смысле, в рот давать. В женский рот. А брать не беру.

Нам, возможно, смешно, но мы не смеемся. А Багира умела вот раньше улыбнуться, чтоб без улыбки, а теперь вот в плач без слёз собралась пуститься.

— Я опять взбрыкнула? Ну что со мной!

— Не беда пока, Дуся, поверь мне на слово. На такой дистанции позволительно. Скачем дальше.

И Багира всплакнула, и слёзки сыскались всё ж, да просохли скоренько. Эта девушка, Ваня, вмешался тут Дар Событий, точно боец, каких не встречал еще. Подари ей шансы, не крохоборствуй. Ну, а я что делаю? А он мне с люстры, а я, мол, что? Вот же фрукт. И кому подстать?

— Я уже не знаю, чего я плачу. От всего. Я не буду больше. А часы ударят полночь, тогда как быть? Прогоните?

— Разберемся. Давай работать. Сколько раз проглотила сперму?

— Вы серьезно?

— Дуся! Ну что опять снова заново? Хватай мешки, вокзал отходит?

— Ну раз пять, ну несколько, ну раз десять. Ну, хотите, я сосчитаю?

Я кивнул.

— Считай.  
— Ровно четыре раза. Может, пять. Нет, точно, четыре раза. Это точно. Именно так.  
— Проглотила четыре раза?  
Она кивнула.  
— От кого? От разных? От одного?  
— От двоих. Сосчитать несложно.  
— Ну, а счёт два-два? Или три-один?  
— Счет два-два, — улынулась. — Ничья выходит?  
И засмеялась.  
— Ну вот, наконец-то, Дуся. Пришла в себя? А то вздумала пугать меня чужим хорохористым.  
Засмеялась.  
— Повезло, что вы не пугливый, да?  
— Еще как! Ну, а что ж с прохладцей такой к минету? Ты брезгливая? Стошнило хоть раз? Из объявленных четырех.  
— Нет. Такого не помню. Не в этом, думаю, дело. Просто я не нашла в том для себя ни полкапельки удовольствия.  
— А вообще у скольких ты в рот брала? Просто в рот, без глотания, без оргазма.  
— У меня всего было пятеро. И ваш друг шестой. Вот и цифра вам. А сейчас еще спросите...  
— Не спрошу. Зачем? Не делай, Сарра, из меня монстра и идиота.  
— Откуда знаете, что сказать хотела?  
— Высоко сажу, далеко гляжу. А к полуночи мы с тобой ничего уже не успеем.  
— А что надо было? Вроде мчались без остановки.  
— Да?

— Ах, да, пардон! Лошадка взбрыкнула. Так а что надлежало исполнить, чего не сделали?

— Полагал, что мы с тобой проведем ритуал, Багира. С соблюдением надлежащих правил приобщим тебя через рот к моему, Багира, ленивцу. Почему-то вот захотелось успеть с этим еще сегодня.

— Так часы же еще не бьют.

— Так Багира минет не любит.

— Я не так сказала. Сказала, не распознала. Сказала, что не нашла изюминки. Сказала, слабая сторона. Так ведь вы ж мне раньше не попадались.

— Это точно. Не попадался.

— Ну, вы поняли. С вами ж будет всё по-другому. Уже ж всё иначе, чем с кем-нибудь.

— Чем с кем-нибудь?

— Не придирайтесь, прошу. Давайте пробовать, вдруг успеем.

— А что пробовать? Ленивца на вкус?

— Ну, выходит, что так?

— А ещё зубы чистить.

— Так я мигом.

— Стоять! Не смехи народ. Сядь назад.

— Почему?

— Не затаскивай в суету.

— Поиграли и проиграли?

— Ничего мы не проиграли. Паникёров к стенке!

Багира приставила палец к виску, к тёмной вишне на нём хайратника, и сказала: — Кххх! — И упала в кресло.

— А вот это больше не делай, блядь, никогда! Ни в какую, блядь, ёбаную в рот шутку.

— Ой. А что такое? Вы суеверны?

— Уважителен, блядь, ко всему, блядь, существу.  
К знакам, к действиям, ко всему.

— И у Славы так, — вздохнула она. — И у папы.  
Вы всегда, Джованни, все на войне, да? Всегда?

— Начеку всегда. И тебе, блядь, рекомендуем.

— Yes, sir! I got it!

— Вольно! Наливай скорей. На перроне  
встречаем полночь.

Часы всхрипнули. Рука тверда. Первый «боммм»  
зашел, как на Новый год, шалобан готов, и в бокале  
жидкий янтарь на доньшке.

— Только я бегом сейчас вам скажу...

— ...Боммм!..

— ...а то выйдет, что я наврала, а я...

— ...Боммм!..

— ...не вру вам я ни за что...

— ...Боммм!..

— ...у меня такое есть приключение есть со  
мною...

— ...Боммм!..

— ...оно у меня отдельно, о нем не упоминаю...

— ...Боммм!..

— ...о нем я не говорю тут, оно другое...

— ...Боммм!..

— ...я обо всем остальном говорю с вами, как на  
духу...

— ...Боммм!..

— ...а о нем молчу, не вру, а просто тут без него...

— ...Боммм!..

— ...оно у меня за скобками, ждет свой час...

— ...Боммм!..

— ...хочу, чтоб вы знали про эти скобки, чтоб не  
подумали, что я...

— ...Боммм!..  
— ...вам лгу. Не лгу я вам. Не солгу я вам.  
— ...Боммммммм!  
— Вот, успела.  
Полночь.

### **День первый.**

**24 декабря, 1991, с нуля до полудня.**

*За это время Иван с Багирой успеют побеседовать об эзотерике, а также разрешат совместными трудами одну большую надобность*

— Ну вот, Багира. За наш с тобой первый день! Аукнулся. Канул в лету.

— И больше нету?

— И больше нету.

— Прощай, родной! — говорит Багира. — Спасибо тебе, родной! Меня тут пока оставили. За ваше, мой господин, радушие с великодушием!

— Только мы его в ноль отправим.

— Кого? Радушие? Да зачем же?

— Нет, в ноль запишем вчерашний день. Ну, согласишься, то мы шли к горе. Подходы были, не восхождение. Теперь вот нам только карабкаться на вершину. Ферштейн? Отсюда отсчёт поведём.

— Как скажете. А в чём разница?

— А в том, что название благозвучное тогда получится нашим мытарствам.

— Название? Мытарствам? А какое?

— Ну как какое?! Октомерон.

— Октомерон?! Да откуда ж взялся?

— Да вот. Придумался только. Как раз восемь дней нам на всё про всё. А там куранты и Новый год.

Мы чокнулись, выпили и закусили с хрустом.

— Здравствуй, Багира. С Октомероном! С первым днём, отважная девушка!

— Здравствуйте, сударь мой. Бежать зубы чистить?

— Ну не сейчас. Теперь можем посибаритствовать.

— Лафа! Повезло же мне вот с инструктором.

— Мне с тобой, похоже, что тоже повезло.

— Со мною? Вам? А не ошибаетесь?

— Наверняка ошибаюсь. Но разницы никакой. Влюбился ж. Вот глаз отвести не могу. Хайратник на волосах у тебя ну просто держит меня в Одессе.

— Какое прекрасное выражение. А можно мне тоже его по случаю?

— Дарю.

— Какой прекрасный подарок!

И девушка эта непостижимая захлопала звонко в ладоши звонкие.

— Неплохо начали новый день?

Это кто спросил? Это я. Но мне не ответили. Сам отвечаю.

— А знаешь, Иван, неплохо. А знаешь, Багира, а хорошо!

Она засмеялась.

— Я вас люблю.

— И я тебя обожаю, Дуся. А нацепи пока вот этот. Вишневый оставим для упражнений.

Я протянул ей матово-серебристый. Она сняла бархатный и надела этот. И этот, с плетеным узлом на лбу, от узла расходился вширь на затылок. И глаз

теперь в самом деле не отвести, и не просто, а загогулисто.

— Посвящаю вас, девушка, в хиппи. Хиппуйте всласть. Пускай пригождается.

Она засмеялась, она захлопала.

— Идём, представлю тебя барону.

Подвёл её к бюсту из оникса лучезарного; обнял одной рукой дорогого фрайхерра, а другой Багиру в хайратнике серебристом поверх смоляных и гладких, раздвинутых поровну посередке, волос до плеч и в бордовом костюме с «молнией» под самую выемку меж ключицами, обнял, прижал и впаял ей в губы вишнёвые протяжный и влажный свой поцелуй с названием «До победы!»; Иероним наш Карл Фридрих фон просиял, и Багира тоже, и поднялась на цыпочки, и размякла, и взвилась, и сникла, и приосанилась; на поцелуй мой отозвалась, и назывался он у неё «А я всегда знала, что так случится!»; и головы наши у нас закружились у всех троих. И Дар Событий сказал: «Впечатано». И поцелуй наш длился весь новый день; хотя минуло, может быть, с четверть часа. Разъяли губы, не без труда. Сургуч рановато, сказал я Дару. А я и не думал, соврал мне он.

— Вот упаду, — шепнула. — Вот грохнусь.

— Держись, не падай. Hold on, I'm coming.

Отвел её к креслу и усадил; навис, как вчера Баранов над Лидочкой, опять дежавю, медведь над берлогой. Целуемся снова ещё полдня, а часы бьют первое получасье.

Фух.

Фух.

— Миллион уже лет, Багира, мне так сладко не целовалось.



- А мне, как сейчас, так вот в первый раз.
- Ну, прям-таки!
- А вот прям-таки! А я Мюнхгаузену, как думаете, пришлось? Смотрины не провалила?
- Сама не видишь? Гляди, сияет!
- Мы что же, полчаса целовались?
- Вот, кстати, — вернулся в кресло. — По поводу «проиграли». Да мало ли что мне взбрестило вдруг успеть до полуночи! Перекуем мечи на орала? Это блажь. *Man supposes, God disposes.* Сроки, Дуся, заруби на носу, не есть парафия человек. Перекуем, как только, так сразу. О том и сказка. Нальёшь за науку?
- За что угодно.
- Рука тверда.
- Не полный. Полшалобана. Способная.
- Вам пьётся?
- Да, наконец мне пьётся. Тебе спасибочки.
- А почему вы совсем не курите?
- Ты наблюдательна, как шпионка. Спецподготовка? Расскажешь? Шучу. Потом. А не курю? Так, Дуся, секрет открою. Не хочется, вот я и не курю.
- Смеётся.
- А ты не смейся. Вернее, смейся. Но фокус вот в чем. Я научился хотеть тогда, когда мне захочется. Понимаешь? Не по привычке, а по желанию.
- Надеюсь очень, что понимаю.
- А это, Дуся, без ложной скромности, уже тропинка в искусство жизни. Вот так-то, Дуся. В искусство жить, блин. Вот так-то, Сарра. Хотя, что хочется. И не хоти того, что не хочется.
- Ну вот и ответили, сударь мой, на сто вопросов, мною не спрошенных.

— А я такой.

— Да уж, вы такой.

— А ты какая?

— А я всякая.

— Коньяк закипит. Поднимай скорей. За таких-  
сяких, Багира, отважных девушек с чистым  
помыслом!

— За всех?

— За всех.

— Ну вот это да! Сейчас сбегутся?

— Кто добежит.

Мы чокнулись, выпили, закусили. А шутки-  
шутками, господа, а пьётся и вправду как летом в  
юности. Способная гостья. Да, Дар Событий?

— А грибочки всё не кончаются.

— А они волшебные. День такой был.

— Лидочкин? Не расскажете?

— Не сюда пока.

— Да, конечно. А капусточки принесу.

И за время её отлучки на меня сошла благодать.  
Репетиция её схода проводилась уже вчера, уже  
позавчера, когда вдруг в беседе с Барановым пере-  
стал вдруг нестись сломя голову, отдышался и  
успокоился. И сейчас, вот в этом же кресле, из меня  
изошла маета любая; я тревожиться перестал. И  
спокойно представил, как Санька с Лидочкой мирно  
катят в большом автобусе, удаляются от меня, при-  
ближаются к Барнаулу и придут туда с Божьей  
помощью, заживут неведомой жизнью. Боль пришла,  
а тревоги нет. До чего же, ребята, здорово принимать  
с Божьей помощью все события. Настоятельно реко-  
мендую. Рецепт прост: берешь, принимаешь.

— Рецепт прост, Багира. Досады прочь! Остальное взять да принять.

— А дошло уже. Панацея ж! От всего про всё. И действительно!

С Багирой из кухни сюда к нам, в придачу к капусточке, на подносе пожаловал выводок разносолов от щедрот Ярослава, в придачу к свитеру. И за нами не заржавело.

— Приготовить горячего? Захотите?

— Обойдемся. Давай с тобой лень попразднуем.

— С вами просто невероятно.

— Come on, damsel. Let's cherish leisure! Huh, Bagheera? But leisure indeed, not laziness!

— Ну, конечно! Досуг — не лень.

— В точку, Дуся. А мне недосуг всё тебя расспросить, откуда такой good command of English.

— Сказать?

— Потом. А давай, полиглотка, применим рот свой пока, чтоб кушать и пить «Камю» и болтать о чувствах. Такие оральные вот забавы. Ты как, потянешь?

— О, боже! Думаю, справлюсь.

Часы проббили нам первый час.

И мы накинулись на еду. И оказалось, проголодались. Жевали молча, жмурились, нежились, гурманству должное отдавали; в полслова, в слово еду хвалили; и в этой связи я, уж как положено, вознес Баранову благодарность, скажу, недолгую, но по делу; ему, боевому другу, по-громкому; а про себя, по-тихому, поднатужился и Лидочке тоже спасибо выложил за всё, что было, и от души. И даже, думаю, получилось.

— Вот это да, — сказала Багира. — Проголодалась как никогда.

— Ну как? Червячка заморили малость?

— Смотря какого.

Она смеётся.

— Да ты скабрёзна, как я погляжу!

— Вы полагаете? Есть у кого учиться.

— Я не скабрёзен, мать. Я тужусь в аплокионы.

— Не знаю слова. А спрашивать неуместно?

— Валяй. Используй рот пока, чтоб задать вопрос.

— Попробую. Что такое аплокион?

— Отлично. Справилась?

Закурил. Что за чудо «Ява» из твердой пачки! Я даже кольцами дым пустил; не делал этого уже сотни лет. Багира спросила:

— И это всё? Ваш дзен? Ответ в кольцах дыма? Аплокион весь там?

— А хорошо бы.

Я ей улыбнулся сквозь вкусный дым.

— Ломать уже голову?

— Не ломай. Досуги же празднуем. Ты просто лениво слушай.

— Вот это приказ! Свирепей вас, дорогой сударь мой, командира мне не сыскать.

Расхохоталась, опять неожиданно, как пьяная шлюха в таверне, но только не пьяная и не шлюха, и не в таверне, а на лужайке. Ну как её, с кем, Дар Событий, надо сравнить бы? И он посоветовал мне посмотреться в зеркало. А я сказал своей гостье:

— У Сократа был Антисфен. Когда научился, придумал на свой риск и страх кинизм. От слова

«собака». Его прозвали Афинский, а он себя звал истинным псом, то бишь, аплокионом.

— А почему собака?

— А потому, что в собаке ему, Антисфену, виделась простота жизни.

— А вы с ним согласны?

— В собаке он полагал свободу от обладания лишним.

— И не поспоришь!

— Собака, Дуся, по Антисфену, всегда следует собственной, Дуся, природе и презирает условности.

— А Вы *сюда* меня вчера, сегодня, вели, ведёте? И приведёте?

— Собака, Дуся, по Антисфену, умеет твердо отстаивать свой образ жизни и за себя постоять.

— Понятно.

— А также в истинном псе всегда Антисфен находит верность, храбрость и благодарность.

— Какая красотища! Так вы, сударь мой, настоящий аплокион. И не думайте.

— Твоими б устами.

— Устами младенца!

— Ну нет! Это съезд с базара. Младенца нету, а есть смельчачка, по виду взрослая. И ей нам, Дуся, с тобой в обозримом будущем предстоит в уста её вставить на пробу мой толстый член. Хуй, знаешь, такой немаленький. И посмотреть, как она с ним справится. Что на такое скажешь?

Молчим. Пунцовые. Зажимаемся. Но взгляд свой держим, не опускаем, и слёзки не набегают.

— Ну, а не справится, так собирай манатки. Зачем нам дальше друг другу морочить голову?

Она пробила свое молчание:

— Посмотрим, сударь. Багира справится.

— Ну вот! Теперь устами младенца. Добро пожаловать!

— Для вас, Иван Александрович, очень важно, да? Я правильно понимаю?

— Что именно?

— Ну, извините, ну, дать мне в рот. Простите. Чтоб я его в рот взяла.

— Да, Дуся, в точку. Важнее некуда.

— Позволено мне спросить сейчас, почему? Или будет по качану?

Я рассмеялся. Она за мной. Нет, точно, ну надо же, я влюбился. А ты хотел? Ну, а кто не хочет? В неё? В неё?! Да откуда ж знать! Я меньше суток с ней. Знать не знал. Ну, а в кого ты хотел влюбиться? В кого? В прекрасную незнакомку. Чем не она тебе? А действительно. Да просто контроль не люблю терять. Ты вот что, тут ляпнул мне Дар Событий и пробку с люстры мне показал, контроль контролю, Ванечка, рознь; а смелость с отвагой твои, глядишь, обносились, поистрепались, давай латай их, пока не поздно, а то, чего доброго, опозоришься. Совет бесценный, да как латать? Мне б сюда водку, а не «Камю».

— Не будет, Дуся, по качану. Вопрос твой до одури небездарный.

— Спасибо, сударь, на добром слове.

— Да что спасибо! Тебе спасибо! Вот удружила. И кто на ковре? Кому отвечать? У кого экзамен?

— Я вам плесну?

Я расхохотался.

— Bravo, Сарра! Плесни для храбрости.

— А в чем сыр-бор?

— Да ни в чем. Хандрю.

— А я вам верну ваше «а не беда»! Двое нас. Хандру, значит, чувствуем. На досуге. А сладко ж хандрится. А разве нет?

— Браво, Дуся, еще раз браво! Влюбился в тебя, блин. Хандрим наотмашь!

Я выпил; и сладко, тепло, и уют пронзителен. Откуда взялся? Так от верблюда.

— А намазать вам маслом хлеб?

— А намазать. И, значит, слушай. Пропишу тебе всю картину.

— А снова боязно. А знаете?

— Да любой каприз!

Для начала сказал ей вот что:

— Значит так, Багира, минет для меня это способ жизни. Это форма существования.

Она засмеялась.

— Я угадала.

— А ты не превратно истолковала? Минет в том смысле, чтоб девушкам в рот давать.

— Кажусь такую приשמаленной? Зачем как дурочке объясняете?

— А ты послушай и не гунди.

— Да я хотела просто сказать, чтоб вы не подумали, что я думаю, я не думаю, что вы, нет, да я знаю, что вы не... Да я просто знаю!

— Что я не что?

— Ну, что вы не педик. Не голубой.

— А что так? Красотой не вышел?

— Ну вас в баню, Иван Александрович!

— Ну вас в баню, Багира Анзоровна! Доверяй, Дуся, но проверяй.

— Да ну вас в баню!

— Ладно. По этому пункту растолковали. И вот, у меня такая потребность. Давать девушкам в рот и как можно чаще. Вот как по мне бы, так надо бы каждый день и по многу раз.

— Вы не шутите? Или шутите? Неужели у вас получается?!

— Получается, когда получается. Но давно уже не получается.

— Почему? Трудный год? Враждебные обстоятельства?

— Да, представь. Спасибо, не на меня подумала. Засмеялась.

— Сомневаться в вас мне — судьбу гневить.

— Получалось, Дуся, не сомневайся. Ну, не каждый день, так хоть через день.

Засмеялась.

— Ну вы даёте!

— А теперь, представь, Дуся, что просто некому. Самому не верится, но вот факт. Растерял адептов, когда влюбился, когда женился, не запылится. Разогнал свой гарем образцовый специального назначения ради Лиды Смолихиной. Понимаешь? А она, не откажешь, справлялась сама на хозяйстве и даже очень. И с большим задором. Ловко справлялась. Аж пока не втрескалась в итальянца. В баритон, в Америго Романо, может и тенором, чтоб он был нам с тобой здоров!

— Я немного в курсе этой истории. Вам не нужно сейчас для меня стараться.

— А вот это крайне удачно. Не об этом ведь разговор. А о чем? Скажи.

— А можно мне тоже капельку?

— Хорошо, Багира, способствуешь. Мне глоток.



— А мне полнапёрстка вот в самый раз.

— За тебя, Багира!

— За вас, Джованни!

Хорошо сидим, хорошо едим, и глазам смотреть да не насмотреться.

— Да, смотрите, — сказала Багира, — я могу сказать. Нет неловкости почему-то. Вы шаман. И коньяк «Камю». Я могу сказать, о чем вы мне говорите. Говорите вы мне о том, что у вас такая потребность. Давать девушкам в рот почаще. Это просто для самочувствия. Nothing personal. Am I right?

— Absolutely, мой вундеркинд!

— Я, позвольте, предположу, что на вас так воздействует ваше творчество. Так влияет оно на вас.

— Или просто из-за контузии. Будем проще.

— Убрали пафос?

— Ага, Дуся, его за двери.

— Но ведь я ж не ошиблась? Про творчество верно ж?

— Верно, Дуся. Спала с писателем?

— Нет, представьте, не доводилось.

— Буду первым?

— Ну, я не знаю. А вдруг и не будете. Могу ж не дать.

Нам, конечно, смешно до чертиков, но не хочется смех выпускать наружу; мы в глазах, я в её, а она в моих, в наших взглядах бездонных парим над всем, что быть может и быть не может. И неожиданно-негаданно для себя я пустился в припрыжку в такую исповедь, о какой никогда ни с кем не мечтал. Я поведал Багире историю яркую о своей эротике эротичной, об избыточной и тугой, и порою такой мучительной. Наболтал я ей про поток энергии, что

нисходит, когда пишу, и чем больше пишу, тем поток мощнее, всё в слова не вместишь, и избыток наружу рвётся; и когда сочиняю прилежно, без перебоев, с утра до ночи, день за днём, то поток набирает силу и выходит из берегов, и тогда эротика распирает, напирает и распирает, я захлёстнут ею и распираем, чуть не лопну уже вот-вот; мастурбация не спасает, облегчает, но истощает, а минет ко времени в самый раз, старый добрый минет на скорую руку это именно то, что надо, что доктор выписал, избавляет от напряжения и при этом бодрости прибавляет; вот такой для меня магический этот самый оральный секс.

— Погодите, — сказала Багира. — Мне нужна передышка. Я сама сейчас чуть не лопну. Дайте, сударь, я отдышусь.

— А чего запыхалась? Что опять нам невмоготу?

— Я могу объяснить. А я догадалась. Никогда ни один мужчина в жизни не рассказывал мне о себе, чтоб вот так без утайки, без надувательства. Вот меня и прошибло вашим рассказом. И не столько запретной темой, сколько этой у вас манерой. Тем, как вы не страшитесь знать о себе в самом деле, как оно всё на самом деле.

— А Баранов?

— А что Баранов?

— Он тебя не потчевал правдой?

— Еще как! Но только не о себе. Он, ваш друг, Иван Александрович, всегда сдержан и дистанцирован. От него таких откровений, а то не знаете, ждате не следует. А от ваших и в самом деле я чуть не лопнула. Переполнилась до краев.

— Отдышалась?

— А что, еще не всё?  
— Да, хотел о себе еще про эротику пару слов.  
Ну да Бог с ними. В другой, может, раз.  
— Я опять всё порчу?  
— Не стал бы так формулировать.  
— А как стали бы?  
— Да никак. Вот гляжу на тебя и просто балдею.  
Обалденное ты пригнала нам приключение. Только,  
может статья, Багира, что нам с тобой в нём  
несдобровать.  
— Вы боитесь?  
— Ну а ты как думаешь? Куча страхов.  
— А чего вы боитесь больше? Что получится?  
Или что не получится?  
— Ха! Себя спроси. В том-то и фокус. Откуда ж  
знать?  
— Я люблю вас.  
— И я вот в тебя влюбился.  
— Разве плохо?  
— Да офигительно! Только это ни от чего не  
избавит нас. А скорее, наоборот.  
— А скорее, наоборот, — повторила за мной  
Багира. — Вы не верите в долговечность чувства? Вы  
не верите в стойкость чувств?  
Я пожал плечами.  
— Да, ты знаешь, скорее, верю. Только опыт со  
мною спорит. У меня с ним диспут. А у тебя?  
— У меня? Я верю, что вы мой суженый.  
— Ну, тебе и флаг, Дуся, в руки!  
— Рассердила вас?  
— Хорошо устроилась! Я твой суженый, ну, а ты  
мне кто? Мне тебя, красавица, во снах не являли. Так  
что я пока пешком постою.

— Не сердитесь. Мне тоже страшно.  
— Вот и славно. Пускай хоть страх помогает.  
Вот и смолкли мы наконец. Молчим долго, всю сигарету.

Часы ударили.

Полвторого.

— Всё, проехали. Не сержусь.

— Вам налить?

— Попробуй. До половины. А себе не стоит.

— Я не хочу.

— А чего ты хочешь?

— Вы сами знаете.

— Не хочу гадать. Расхотелось.

— Боюсь, рассердитесь.

— Ну, тогда молчи. И хотеть, значит, будешь то, чего мне захочется.

Она кивнула.

— Так тебя устроит, красавица, для такого времени суток?

— Разумеется.

— Ну, за нас!

Я выпил и снова приладил себя к потоку, из которого почему-то выскочил. И простил себе, для того хотя бы, чтоб опять из него не выскочить. И поток меня подхватил. Ну, а Дар Событий махнул рукой, мол, где наша не пропадала.

— Принеси, будь добра, мне, Дуся, не в службу, а в дружбу, из кухни пробку. Такую же, как на люстре. Поищи, там есть.

— Я найду, я видела.

Она принесла.

— Где взяла?

— В ведре. Сполоснула, вытерла.

Я взял пробку, вежливо ознакомился и зажал её в кулаке.

— Пробка силы?

— Откуда знаешь?

— Так, подумалось.

— Угадала.

Я закрыл глаза и набрался силы. У меня в друзьях все пробки, те, что из пробки, орехи также, каштаны, камешки из прибора, деревяшки почти любые, дети малые, но не все, и все старушки-библиотекарши, ножи, кинжалы, штыки и сабли, штурмовые винтовки и пистолеты, и черепа, у которых зубы на месте; убодряют искристость жизни и веру мою в себя; ну, и я к ним со всем почтением.

— И откуда же ты, охотница, раздобыла себе Кастанеду?

— Как узнали? По пробке силы?

— И по panties, Дуся, of power.

— Это я сказала? Трусики силы! У Баранова, где ж еще.

— В самом деле. И сколько книжек осилила? Две? Одну? Какую?

— А сколько, — смеется курьер мой пробковый, — по мне рискнете предположить? Не больше двух?

— А давай попробую. Загадка для сталкеров. А прочла ты, Дуся, все восемь. Вот что.

— От вас не спрячешься. Могу назвать все, причем подряд.

— Потешь служивого на привале.

— Налить?

— Потом. Если справимся, как награда.

— Ну, первая, значит, *The Teachings of Don Juan, A Yaki Way of Knowledge*.<sup>12</sup>

— Неплохо. Но это проще простого.

— Затем, значит, *A Separate Reality*,<sup>13</sup> верно? И *Journey to Ixtlan*. Третья книга.

— Да, третья, Дуся. Путешествие в Икстлан, да? Любимая.

— Правда? Почему?

— Шикарно рассказано. Почитай еще раз. Поэзия самой жизни.

Она кивнула.

— Затем *Tales of Power*<sup>14</sup> и *The Second Ring of Power*.<sup>15</sup> Это пять. Потом...

Задумалась. Я не выдержал.

— *The Eagle's Gift*.

— Ага. Подарок орла.

— Я сказал бы, что дар орла.

— Вы правы. Скорее, дар.

— А за даром, Дуся, вослед *The Fire From Within*.<sup>16</sup>

— Ну зачем вы? Я бы сама сказала.

— Пардон. Блеснуть захотелось тоже.

— А вот восьмую, действительно, название забываю. Погодите, попробую всё же. Нет, убегает.

— Это, Багира, всё потому, что падка ты, дуся, на болтологию.

— Спасибо, вспомнила! Это *The Power of Silence*.

---

<sup>12</sup> Учение дона Хуана: Путь знания индейцев Яки.

<sup>13</sup> Отдельная реальность.

<sup>14</sup> Сказки о силе.

<sup>15</sup> Второе кольцо силы.

<sup>16</sup> Огонь изнутри.

— Ну, конечно, Дуся! Сила безмолвия. Вся сила в нем. Как в плавках у сталеваров. Почти как в трусиках у тебя.

Она просто весело засмеялась, смехом без номера.

— А на русском их нету, да?

— Скоро будет. На будущий год.

— Вы еще и провидец?

— У меня в Москве кореш в издательстве «Русский язык». Жека Коненкин. Моща такая.

— А у вас разве есть друзья, чтобы не моща?

— В точку, Дуся. Были, но больше нету.

— Сплыли?

— Сплыли. За горизонт. Вот теперь налей.

— Заслужили?

— А то! Так с тобой, значит, можно запросто, Дуся, посудачить об истинах осознания?

— А вам мало, как я и без этого тут позорюсь? Сами ж знаете, что за книги. Их читать не пере-читать.

— Ну хоть в том, как глупость нам контролировать, в этом, Дуся, надеюсь, разобралась?

— Сами ж видите. Безупречна.

Мы смеемся; и тост наш болтливый за Карлоса и за дона Хуана Матуса, и за дона Хенаро, который так срет, что земля трясется; а Багира еще к этой здравнице норовит и меня пришпилить, потому что ей, по ее словам, сдается, что указанным благородным донам по ночам в Сонорской пустыне не шаталось им без меня.

— Льстишь мне, Сарра. Вот это почести! Таких даже мне с избытком. Но всё же рискну. Принимаю. Пью. А там поглядим, что получится. Если что.

Часы нам бомкнули два часа, а мы им свой чок, наши дзинь со дзыном.

Жевал разносолы и размышлял над несусветицей ситуации; всё тут смешалось в кучу-малу. Баранов с тиграми, Санька с Лидочкой, бесстрашный Репа, братки залетные, камзол, рогатка и шаровары, а к ним хайратник, а к ним Багира, чем не пантера? и чем не хиппи? и чем не забава на две-три ночи? и чем не жена тебе навсегда? неосмысляемый Косоваров в дуэли на саблях в шторме на палубе, Радмила с Никитой, фрайхерр Мюнхгаузен, в склепе в Кемнаде и тут, у меня на герме в сиянии, Нинка с Гариком и со мной, Боденвердер, Ганновер, Дороти, Зиги, камень Готтлиба, речка Везер, Дар Событий и пробка в люстре, и зажата в кулаке. Ну как в кутерьме такой кавардак такой разгребешь? Никак. Пускай он сам себя разгребает. А нам, Иван, не плошать. А нам, Иван, хладнокровие и настойчивость. Да, Дар Событий? Должно хватить?

— Куняешь, Дуся?

— Да нет, задумалась.

— Бай-бай не пора?

— А это как скажете.

— Давай расскажу тебе диспозицию. Давай? Не боязно?

— Вроде, нет.

— Ну, значит, так. Всё, что было для нас на этот заход мною вскользь намечено, уже сюда никак не влезает. Уже не поместится. Отменяется. Значит, так.

— А что? Мне на глаза хайратник и депривация?

— Оно. Посчитал целесообразным знакомить тебя вслепую с моим красавцем. Через касание, обоняние,



через вкус и сосредоточение. Через такую работу с уважением, в радости, но без похоти. Труды ее вытесняют.

— Почему теперь отказались?

— Потому что мы с тобой, Дуся, на радостях предались, и правильно сделали, утехам гастрономическим. После них про минет ни слова. Уважаем с тобой всё сущее. Уважаем? Вот, стало быть, застолье наше прекрасное и дать-взять тебе в рот мой член, эти две забавы оральные, понимай, гуляют сегодня порознь. И минет гулять, понимай, отправился до утра и дальше.

Часы ударили получасье.

— А какой же паллиатив?

— Мать честная! Да ты академик, Дуся! Тут была у нас нянька с такими замашками. Капитолина Францевна. Ты откуда себе, Дуся, таких словечек понатааскала?

— Я читаю много. Много читала.

— Ну, соитие нам не паллиатив. А соитие нам, если звезды станут, это нам грандиозное приключение. Может статья, что судьбоносное.

— Правда, может? Вы в это верите?

— Верю, Дуся, я в то, что вижу. И соитие мы отложим на потом, на как можно дольше.

— Так зачем же так? Для чего же так?

— Да не спрашивай! Не сумею словами растолковать. Просто верь мне, что это правильно и по-честному. Вот увидишь, что пригодится.

Она вздохнула по-человечески, не по-китовьи.

— Ну, вам виднее.

— А паллиативом, Дуся, нам на сейчас в таком случае у нас выступит моя просьба. Просто просьба, а не веление.

— Уже боязно. И какая же?

— И какая же? А скажу, какая. Вот сейчас прямо и скажу. А ты не тушуйся.

Я налил себе на глоток и выпил.

— Вы что, сударь мой? Неужели? Вам что, неловко?!

— Ну, не то чтоб неловко, а как-то так. Да, пожалуй, что и неловко. Больно просьба уж для проверенных.

— Так проверьте, Иван Александрович. Я способствую. Я ж экзамен держу, не вы. Значит, выдержу. Так выходит.

— Ох ты, Дуся. Скажи, Багира, а не сложилось у тебя впечатления, что у нас тут после полуночи мы уже пару раз менялись ролями?

— Не сложилось. Давайте просьбу.

— Ну ты, Дуся. Такое вот предложение. Подрочить мне. Как тебе для начала?

Молчим, пунцовеем.

— Отказ принимается. Претензий к тебе не будет. Отложим тогда и это.

— Да что ж вы так вы разволновались вы? Как же можно? А мне что делать? Уже? Сейчас? А где и как?

— Волнуемся оба? Ну, так, значит, тому и быть. Глаза боятся, а руки делают.

— Я знаю. Я постараюсь.

И до чего же она красивая; хотя волнение через край.

— Достань, Багира, у меня из штанов моего красавца. И познакомься с ним, значит, по-деловому. Возьми его в руки и приласкай. Поспособствуй ему в руках твоих взбрызнуть. Застоялся боец. Давненько не извергал.

Она стала серьёзной, такой, как утром, еще серьёзней.

— На свету?

— Ну, мне бы так, пожалуй, поинтересней. Но, если хочешь, могу потушить торшер.

Она решительно поднялась из кресла и подошла ко мне. Я притянул нам под ноги подушку, и Багира опустила на неё на колени.

— Так что со светом, Дуся?

— Пускай.

Она расстегнула на брюках «молнию», распахнула ширинку и погладила меня сквозь трусы; потом запустила в них руку с умными пальцами.

— Поможете?

Я приподнялся и помог ей стащить брюки с трусами до щиколоток, и снова сел в кресло; устроился поудобней для нас обоих. Она протянула руку к моему узнику совести наконец на свободе, изрядно изнуренному за долгий день теснотой и на разные лады напряжениями с предвкушением, и коснулась его, подстать медсестре перед процедурой.

— Так и знала, — сказала она, — что вы никому ни в чём не уступите.

— А я и не обещал.

Она засмеялась тихо и весело.

— Намучались?

— Не сегодня. Погасить торшер?

— Нет же. Не смотрите пока, если можно.

Я уставился в люстру, но там обитал Дар Событий, который по случаю оживился, и я перевел взгляд на барона, и он, дворянин и солдат, не повернул головы в нашу сторону, хоть и ему любопытно было не меньше нашего, а может, и больше.

Часы пробили громко три раза.

А Багира, как медсестра, взялась за освобожденного уже в две руки и на свой страх и риск вменила ему некие предвестия главной процедуры.

— Вверх-вниз? Я правильно понимаю?

— А куда ж еще?

Пронял нас хохот, мой от души, а у сестры милосердия от избытка участия и сострадания; а бывший узник от нашего хохота пригорюнился.

— Да нет, — говорила Багира сквозь нервный смех. — Спросить хотела, как двигать рукой.

— Ну, туда-сюда.

Не гэць, конечно, однако ж умора просто.

— Да нет, — смеётся и чуть не плачет. — Узнать хочу, вам надо, скажите, чтоб до упора? Или с маленькой амплитудой?

Ну всё, приплела сюда еще амплитуду! И смех нас пробрал с амплитудой под потолок.

— Ну перестаньте, — вставляет слова сквозь хохот. — Вы несерьезно... относитесь... Иван Александрович... к процедуре.

И вот уже после этого отхохотали вволю, и процедуру по боку. Когда отдышались, она сказала:

— Надо взять себя в руки, мой господин. Дело ж серьезное.

И мы опять едва не пустились в смех.

— Кончай смешить, раз дело серьезное. Давай покажу.

Тот тонус, в каком пребывал мой освобожденный, всецело был его собственным достижением. Я взял его в руку, взбодрил и собственноручно продемонстрировал медсестре, как надо бы, хорошо бы как, для того чтобы получилось. Она усвоила, как смогла, и приступила заново к процедуре; и мало-помалу в её руках, в теплых ладонях, в прохладных пальчиках, дело заспорилось, пациент воспрял; тетиву нацепили на лук, приладили и натянули, еще, еще, всё не отпустит, не отпускается, всё не спускается тетива, никак стрелу в полёт не запустит; а натяжение всё растёт, а натяжение возрастает.

— Теперь всё правильно? Хорошо?

— Всё путем. Еще потрудись немного.

И вскоре уже тетива звенит на высокой ноте, да всё не спускается, не спускает, не отпускает, не запускает. Часы в подмогу всхрапнули, ударили полчасае. Звенит тетива, звенит.

— Куда направим бурный поток?

— Хотите в ладошку мне? Или как? Или что хотите? Сказали ж сами, чтоб ни полслова про в рот.

— Давай в салатницу от грибочков. Как раз один там для красоты.

— Хотите изгнать из меня брезгливость? Так я не брезглива. Ещё увидите.

— Хочу просто, милая, нетривиального. И кончить надо как никогда. Так надо, что даже оно мешает. Старайся, милая, не волынь.

— Вы встанете?

— Встал уже. Протяни мне блюдо.

Грибочков там не один, а два, в подковках лука и золотистых разводах масла. Над этим блюдом стоя, мы с Багирой на пару трудимся еще не минуту, не две, а все еще минут отчаянных десять.

— Устала? Еще немного. Скоро уже. Еще чуть-чуть. Вот сейчас уже. Вот уже сейчас. Всё, поехали, я кончаю.

И вот наконец.

— Ого! А теперь мне как? Продолжать?

— Помягче. Я помогу.

Выдал всё, что выдал. Не подкачал ни я, ни боец. Обнял Багиру одной рукой, рыкнул тихо ей на ухо. Она поёжилась.

— Всё, Багира. Хватит. Остановись. Стоп-машина!

— А получилось?

— Что за вопрос?

— Да я на радостях. А красиво!

— А я о чем? Гравюра японская.

Багира смеётся, в ладоши хлопает.

— Вы мною довольны?

— Как никогда.

Опять смеётся.

— Фух, Дуся. Спасибочки. Я присяду. Вот работёнка. Правда, сестричка? Врагу пожелаешь?

— Врагу не стану. А вот себе и не знаю даже.

— Не знаешь?!

— Это я так шучу.

Опять смеёмся, смеёмся снова.

— Теперь нам положена эйфория.

— Сейчас нагрянет?

— Не преминёт.

— Послушайте, нет, ну вправду красиво! Блюдо убрать?

— Пускай постоит.

— Присяду тоже?

— Постой, здесь капля еще. Забери на пальчик.

— И облизать?

— Не сейчас. На лице размажь под глазами.

— А высохнет, стянет кожу, да?

— А знаешь, да? А такое знаешь?

— А такое знаю. А знаю, да.

— Спросить, откуда?

— Не от верблюда. А у меня по ходу вопрос дурацкий. Вы исполин, да? Вы Олимпиец?

— Не знаю, к чему ты, но да и да.

— Вы видели или нет, не видели, куда улетела первая капля?

— Я метил в блюдо. А промахнулся?

— Она улетела на край стола. На тот, на дальний. Вот посмотрите. Вы исполин, каких свет не видывал. Еще б немного, и было б в космос.

— Там чисто? На пальчик, и под глаза.

Она исполнила это весело.

— Простите, никак не могу уняться. Вообразить себе не могла, что он умеет так взять да брызнуть. Ну, ясное дело, что это ваш, и, ясное дело, он всё умеет.

— Не всё, орехи колоть не пробовал. Вот околачивать груши — да.

Смеёмся тихо, громкость ушла, а вместо неё нам уют и бархат; такая с манерами эйфория. Багира вернулась в кресло, а я разделся; рубашку снял и достал с себя остальное с носками вместе и кинул

в кресло поверх одёжек Багиры, что там со вчера пылятся.

— Побуду я нагишом. С вашего позволения. Верну вам вчерашний должок, сударыня.

— Щедры, сударь мой. А галантность ваша просто держит меня в Одессе. Или надо — в Одессе держит?

— Допустимо и так, и так.

— А жарко всё-таки, — она спустила застёжку «молнии» на бордовой кофте до середины. — Жарко стало? Или мне кажется?

— Я не местный.

Она смеётся и всё смелее пробует меня разглядеть.

— Война? — кивает на втянутый шрам над коленом, не хуже чем у Баранова под ключицей.

Кивнул и я.

— Но не та, что думаешь. Это Прага, год шестьдесят восьмой.

— Сколько ж вам было?

— Так девятнадцать.

— Хромали долго?

— Ну, обошлось.

Она покачала головой и стала для меня такой красивой, какой еще не бывала; и родной, и чужой, и близкой, и желанной.

— А у меня проблема теперь.

— А вот не хотелось бы.

— А в самом деле. А клетка захлопнулась.

— Промолчу, Багира. Чего вола тянешь?

— Жить без вас больше уже, кажется, не смогу.

Такие вот пироги.

— Перекрестись и пройдёт.



— Вам легко говорить.

— Значит, так, Дуся. Прекрати шантажировать меня любимым образом. Ты меня не знаешь. Вылетишь отсюда как пробка. Происходит как происходит. Случилось? Терпи, носи в себе, пестуй, сколько тебе влезет. А по ушам не елозь.

— Я поняла. Не буду. Сказать хотела, поскольку правда.

— Сказала. Услышал. И баста!

— И баста! — весело повторила за мной эта дуся.

— Ну что? — Я поднялся из кресла. — От урины избавиться не желаешь?

Она всплеснула руками смуглыми.

— А вы еще выше кажетесь, чем в одежде. Опять брудершафт?

— А что, со второго раза начнешь на ты называть?

— А вот и нет. Не стану пока. Подождем пока до соития.

— Лукавству храбрых мы гимн слагаем. Тогда просто пи́санье двух друзей. Безо всякой, поди ж, задней мысли.

— Sounds like fun.

— Пойти впереди? Насмотришься вволю, а не украдкой.

— А вы и себе цену знаете, да, сударь мой, и всему на свете?

В ванной спросил её:

— Пора умываться?

Она посмотрелась в зеркало и потрогала скулы.

— А пока не стану. Чуть-чуть попекло, а теперь лафа. Она целебная? Ну да, она ж ваша. Хотите, чтоб смыла?

— Да нет, напротив. Тебе к лицу.

— Ну да, не к попе. Сниму хайратник?

Со всем управились, воротились. Багира снова теперь с хвостом над бордовым откинутым капюшоном. В проходе по тёмному коридору часы нам пробили четыре часа. Застыл возле них, чтоб удары выслушать, и арьергард мне уткнулся в спину.

— А вам нагота ваша неловкость не доставляет?

— Сама суди. Чего тут болтать?

— Ну, вы ж не нарцисс? Совсем же не это?

— Как знать, пока над ручьем не залягу? И не уставлюсь в свое отражение.

Вернулись в кресла под свет торшера, как в дом родной из похода долгого.

— А вы и в самом деле как Аполлон. Как эллин из мифа. Они ж наготы не чурались?

— Вполне мне достаточно Одиссея. Люблю бродягу. И не забудем аплокиона. А ты, Дуся, чисто Шахерезада. Но только лучше, поскольку здесь.

Блюдо с цветной японской гравюрой, трудами нашими с Дусей созданной, это блюдо теперь унесено, а вместо него другое принесено, и спать почему-то совсем не хочется, и задушевность в мягких тонах всем опять заново верховодит; и «Камю», приспособствованный Багирой, пьётся просто, как никогда. Содвинули звонко мы дзюнь со дзыном, я настоял, за труды Багиры, и выразил ей от души благодарность за то, что справилась без «ах, что вы!», за то, что ручек не опустила; а Багира добавила «За него!»; вот такие мы с ней друзья тут, в этот краткий и вечный миг.

— Ну что, короткий разбор полётов?

— Опять нашкодила?

— Так вот нет же!

Я бегло поведал Багире, как было здорово смотреть на то, как она прилежно трудилась над исполнением моей просьбы по разрешению моей надобности.

— Большой оказалась, — сказала Багира, — надобность.

— Как есть, — сказал я. — Но главное, настоятельной.

— Вам правда понравилось?

— Ну что за лукавство! Правда.

— Зачем сказали, что, если я не готова, тогда отложим? Нужда ж в самом деле, как убедились, была великая.

Я рассмеялся.

— Так убедились?

— Ну, я, так точно. А вы что, нет?

Я рассмеялся. Она рассмеялась. Мы рассмеялись.

— Затем сказал, что нужда нуждой, а колхоз, Дуся, дело все-таки добровольное.

— Ну, разве что как колхоз.

— Вот ты смеешься, сударыня, а я знавал, потом расскажу, одного полковника, так он полагал, и мне полагать советовал настоятельно, что в нашей армии, Дуся, никто никого никогда, понимаешь, не заставляет.

Она хохочет. Залезла в кресло с ногами.

— Но ты меня не сбивай. Делился своим восторгом от того, какая ты. От чистого сердца тебе моя благодарность.

— Ну и как мне быть и такое слушать?

— Точно так вот, как ты сейчас, и никак иначе.

— Так а что уже мне тогда про вас говорить?

— Сделай милость, замни для ясности.

— Молчим, — кивнула, — несем в себе, терпим, пестуем.

— Скажи, Багира, тебе сейчас тоже кажется, что вечер в общем-то удался?

— Вот это да! Вот это я понимаю! От вас и кокетство за жизнь! А не вопреки.

— Ну что ж. Зришь в корень. Похвально. Без ложной скромности.

— А утром действительно будет всё по-другому? Или пугаете просто провинциалку?

И часы нам ударили половину пятого.

— Уже понятия не имею, как будет утром. Способная, Дуся, способствуешь. Наливай.

— А почему бутылка не опустеет?

— Понятия не имею.

— Вы взяли нам новый галс? Теперь ни о чём понятия не имеем?

— О чем ты, Дуся? Понятия не имею.

Рука тверда, шалобан по грудь, в бокале капелька, и пуста бутылка. Дзинь-дзынь!

— За первую нашу совместную, Дуся, добычу спермы!

— А можно просто за вас?

— Да, а можно просто за нас.

Фух.

Фух!

— Ну вот, — сказала Багира. — И в самом деле! Эйфория. Нахлынула, да? А на вас?

Я кивнул.

— А я молодец! — сказала она. — А я молодец?

— Несомненно.

— А вы молодец! — сказала она. — Вот же вы молодец-то!

— Не спорь, Ваня, — сказал мне с люстры Дар Событий. — Не отпирайся.

Я последовал почти без труда его совету. Хотя бы потому, что вдруг сил не сыскал.

А Багира сказала:

— А меня только сейчас догоняет, каких вам трудов, Иван Александрович, тут с нами со мной чего стоит.

— И каких же?

— Да героических!

— Даже так?

— Ну я же не дура! Просто не сразу сообразила. За своими трудами ваших не разглядела. Но вот разглядела. Сообразила.

— Догнала?

— Догнала.

— Эйфория?

— Да всё на свете!

Тут, пожалуй, догнало и меня; три крайних денёчка и весь этот год навалились разом да поднужились, и разомкнули общую эйфорию надвое, и моя присела на корточки и попросилась на боковую.

— Здравствуй, Багира. Жить трудно. И не только мне.

Она засмеялась.

— Так вот же как раз получается, что мне с вами как раз и не трудно.

— Это так кажется. Причем опосля.

— Ну пускай так. Но это ж как раз то, что надо! Разве нет?

— Разве да. Умная? Как вы лодку назовете, так она и поплывет.

— Ну вот. Куда теперь? — и процитировала Пушкина. — Куда ж нам плыть?

И это опять было полное дежавю с позавчерашней Лидочкой.

— Куда ж нам плыть! — произнес я реплику из нашего спектакля в далеком студенчестве в Доме Фундуклея.

Багира засмеялась.

— Плыть! — повторила смачно. — Конечно, плыть! Так куда?

И часы ударили пять.

— А давай баиньки?

— О! — сказала гостья. — Момент истины! Ну разумеется. Распорядите нас, сударь, на ночлег подобру-поздорову. Чтобы никого понапрасну не обидеть.

Она таки нащупала в своей эйфории нерв этой минуты и ухватила за него обеими руками. А я взвесил все за и против, вернее те, какие смог отыскать и взвесить на сон грядущий, и, уверовав в крепость распахнутых предо мною объятий Морфея, решил, что пускай смельчачка, раз уж ей так хочется, дрыхнет со мной рядом на ошкуе, хуже не будет.

И я распорядился касательно подушек и прочего, и базисных основ аплокионства для обоих, призванных укрепить в ночи нашу стойкость против нападок общечеловеческой распущенности, и, не дожидаясь исполнения своих директив, завалился на шкуру со скатанным спальником в головах, и тотчас призван был в иномерный полет под эгидой Логоса Планетарного. И оказался сразу же, или через чёрный

провал, но без сожалений, попал в кабину штурмовика морской авиации, пилотом, один на один с ревущей машиной на подлёте к авианосцу, чья палуба, как знаем, отсюда не больше ногтя на мизинце; и понял сразу, что не обучен, что кто-то недосмотрел, а я слабину дал и уступил чьей-то просьбе, по дружбе, или же куражом ведомый, по глупой бравате, по пустой, и вот теперь; и теперь вот; и понял, что обиды с придирками, что к себе, что к мирозданию, это на потом, если оно нам потом подарится, и если в нём еще сыщется место для придирок с обидами, а сейчас надо просто знать, что сможешь, просто взять да посадить машину на палубу, как все это делают; и я вцепился в ответственность и в рукоять управления, и слился с глиссадой, и проник многосильной машине в её ум и пламенное сердце, и перегрузка без промедления задвинула мне кундалини снизу из муладхары со свадхистаной вверх сквозь манипуру и анахату в горло и дальше в голову к сахасраре, к раскрытию тысячи её лепестков; и океан в тяжелой зыби грозно нахлынул снизу, заслонил собой прочие шансы, и палуба резко скакнула на нас чуть не вплотную, чуть не расшибла в порыве прильнуть; и всё же мы промахнулись и едва смогли вытянуть вверх и влево на новый заход; мы заходили на посадку еще дважды, и трижды, и восемь раз, и двенадцать, и всё никак не могли обрести палубу под собой и угодить наконец восвояси, и заслужить горячий ужин и сладкий сон. Сон в моем сне оставался недосягаем, и приходилось уповать на остатки горячего и свое упорство. И вот кто-то в штабе наконец вошел оперативно в положение и проявил милосердие, а

боевые ж люди добрее небоевых, и с меня сняли задачу и усадили нас на палубу собственными заботами, жёстко, но качественно, усталыми, но довольными. Фух! Однако ж вместо ужина и сна прежнюю задачу заменили новой — зубовным скрежетом от тоски по разлуке с Санькой; и я скрежетал и выл, и норовил, хитрец, возрыдать, дабы умиловить кого-то, но слёз, как водится, опять на складе не сыскалось, а скрежет востребован был дробильный и оглушительный и до тех пор, пока зубы есть; и норовил я в той маете раздобыть себе где-нибудь новое смирение да с терпежом поновее. А тут и любви свои, откуда ни возьмись, бурным каскадом пережил вдруг все заново, и мало не показалось, зато старуха из сказки у разбитого корыта показалась мне из моих горестей дамой вполне перспективной, не суди, да не судим, и я чисто от фонаря, безо всякой задней мысли, просто подхваченный приливом эмпатии, а она, помним, у боевых не чета всем прочим, принялся чинить старухе её лохань, а старуха, расчувствовавшись, посулила за ремонт отстирать мне от крови мою «песочку»,<sup>17</sup> но я отказался, потому что кровь не моя, и как-нибудь обойдётся; и пришагал старик с берега с пустым неводом и всучил мне его, и благословил идти с миром на поиски своей рыбки и подтолкнул меня в спину, и я пустился в дорогу, а старик со старухой у меня за спиной затеяли грандиозную стирку и смеялись от души, словно дети малые; и со второго, с третьего шага я угодил в то самое очей

---

<sup>17</sup> Песочка или афганка — жаргонное название комплекта полевой формы.



очарованье, в шикарную осень, то ли в Болдино, то ли в Репино, то ли на Французский бульвар, а то и в лес в Крыму под Красными Скалами и в такой же в ущелье с водопадом Джур-Джур; и набрушились на меня отовсюду, вкрадчиво, строки Пушкина, и проникли в душу, и закружили там свой магический хоровод, и двинулся ко мне незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей, и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута — и стихи свободно потекут; так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны; громада двинулась и рассекает волны. Плышет. Куда ж нам плыть? . . . . И многоточие, и многоточие, и многоточие; и я силюсь его прочесть ну хоть как-нибудь, вскрыть его, добыть сокровища, в нём утаенные... И точки ожили, шевельнулись, заерзали; одни ударили в колокола, а другие вздрогнули басовыми струнами, а третьи загудели, как трубы органа в большом соборе...

Часы ударили еще раз, другой, и смолкли, и эхо иссякло, и сквозь его излёт проступили шорохи.

Я размежил веки и проморгался.

На шкуре было просторно; и даже решил, что один в комнате, не считая Дара и фрайхерра, но не успел распознать своих чувств на сей счёт, потому как шелестнула страница, и, наведя резкость, узрел по ту сторону глобуса Багиру в кресле под торшером с книгой в руках. И проворчал, и не для того, чтобы что-нибудь, а просто, чтоб язык для начала во рту повернуть, как винт самолету прежде, чем движок запустить:

— О, сколько нам открытий чудных, —  
проворчал я, — готовит просвещенья дух!

— Ага! — откликнулась звонко. — Вот перечитываю «Ловушку» вашу.

— Перечитываешь?!

— Ну да. Только вот дочитала. И листаю вот заново по свежим следам. Я в восторге!

— Любой каприз. Это сколько било?

— Одиннадцать.

— Вечер?

— Утро.

— Какого дня?

— Да всё сегодня. Мало спали. Но почему-то выпалась. А вы? Вам трудно спалось? Опять воевали снова?

— А что?

— Ну, так показалось.

— Шумел?

— Ну, маялись. Я бы так выразила.

— Не воевал. Не призвали. Зато пришлось штурмовик сажать на палубу авианосца.

— Посадили?

— Посадили.

— С какой попытки?

— С тринадцатого захода.

— Вы серьёзно?

— Абсолютно. А еще корыто старухе починил.

— Какой старухе?

— А той, что дед со старухой жили-были.

— Вы серьёзно?

— Абсолютно.

— Вот это по-тимуровски!

— И не говори! Только сам-один, без команды.  
Потому намудохался.

Она засмеялась.

— Доброе утро, Дуся.

— Привет, Джованни!

— О!

— Ага!

— Да ты прямо живчик.

— Будете вставать?

— Придётся. Гидравлический будильник.

— А это что? А! Поняла!

Она засмеялась.

— Так у нас там, Дуся, звалось. Пять кружек чая у костра на сон грядущий, и как раз в два утра он тебя на подъём. Своей гидравликой. Чтобы в три выступить. И пройти камнепадный участок без камнепада, пока солнышко ледник не нагрело. Ну не таскать же в самом деле на себе будильник в горы.

— Очаровательно!

— Ты полагаешь?

— Вы не в духе?

— Ты полагаешь?

Она встревоженно промолчала.

— Не тушуйся, Дуся. Просто утро. Оно без бархата. И просто мочевого пузырь. Так припёр, что на глаза не вижу.

Шестым чувством, и седьмым, и десятым я уловил, как ей стало пасмурно, и ясный утренний уют её подернулся тучами.

В ванной над умывальником я сполна испытал положенное блаженство и с облегчением сунул голову под кран; а потом надраил зубы, соскреб с них остатки скрежетов недавних; а потом побрился

новеньким «Жилетом», намылившись дважды зубной пастой — старый добрый приём, обнаруженный случайно в Каире с бодуна поутру и поведенный самым верным из верных там. И, конечно же, использовал все процедуры и время, на них отпущенное, помимо прямого назначения, на то, чтобы вычислить по солнцу свои координаты. И, если честно, то так и не вычислил. Привет Михал Афанасьичу! Провел рукой по ноге и не определил... Констатировать, положив руку на сердце, мог я лишь одно, и ничего тут нового, а именно, что сон со снами, а теперь вот и раннее утро за плотными шторами на исходе года, проложили, как водится, во мне черту, разомкнули связь со вчерашним; и эмоциональный контакт с Багирой и нашими скромными с ней накануне свершениями, был мной теперь утрачен, ищи-свищи, и налаживать его, если налаживать, то опять заново. Так налаживать?

— Слушай, Ваня, — сказал мне Дар Событий. — Прыгай давай в поток. Сливайся. И не морочь голову. Куда-нибудь да вынесет.

— И что б я без тебя делал? — сказал я в сердцах. — Теоретик хренов!

— А вот это как раз вопрос! — отозвался он. — Ты б поразмыслял над ним, Ванечка, на досуге.

В дверь ванной тихо постучали, и я с первого раза угадал, кто это.

— Открыто!

Я не обернулся, добриваясь, а Багира в бордовом стала на пороге и прислонилась плечом к косяку, бледная и незнакомая, и глянула в зеркало в глаза моему отражению.

— Хотите, чтоб я исчезла?

— Я так плох?

— Вы нет. А вам да.

— А вчера не лучше было. Ты просто не заметила. С корабля на бал.

— Да, наверное. Так хотите?

— Да не знаю я, Багира, чего я сейчас хочу. Всего на свете и вообще ничего. Ну чего тут непонятно? Понятно?

Она в зеркале пожала одним плечом.

— Говорю тебе, и вчера было точно так же. Понимаешь? Только то вчера, а это сегодня. Вот и вся ерунда. Ты кивни давай.

Она покачала в зеркале головой.

— Знаешь, дорогая, вот терпеть не могу, когда за меня лучше меня самого знают, каково мне. Да врётё вы всё, мерзавцы, ни хрена вы не знаете! А только в рамки свои запихнуть меня норовите. А так не пойдёт.

Она вздохнула.

— Вот и ты туда же. Ну правда, не к месту и не ко времени сейчас сунулась. И куда?! В душу мне? Так промахнулась.

Она вздохнула.

— И как же? И что теперь?

— И как же?! — я повернулся к ней, чтобы метать молнии. — Паникёров стрелять на месте! И что теперь?! Возвращайся за парту и жди звонка. Листай себе своего «Цэдэнбала», пока листается. Приду, спрошу.

И Багира исчезла и с порога ванной, и из зеркала.

В скором времени, воротившись в свою берлогу выбритым и облаченным в штаны и свитер от фирмы «Рита», я обнаружил Багиру в том же кресле,

с той же книгой, и часы пробили получасье. Она подняла на меня глаза новоявленной страдальницы, и лицо её было чужим и некрасивым.

— А вот знаю же, — сказал я, усаживаясь напротив, — что скоро пройдёт и это.

— Что именно?

— А то, что ты с лица никакая.

Она засмеялась.

— А уродина, да?

— Ну так, семь на восемь.

Она засмеялась с мокрыми глазами.

— А пройдёт?

— А вот и узнаем.

— А узнаем?

— Понятия не имею.

Она кивнула, и блеснули слёзки.

— Завтракать будете? Вам налить?

— Чаю.

— Чаю?!

— Ага. Зеленого. Там есть.

— А как же ваш знаменитый алкоголизм? Он же запойный? Я так поняла?

— И не сомневайся. Но он же мой. Что хочу, то и вытворяю.

— Вы меня дурите?

— Тащи, Дуся, чай бегом, пока не передумал.

И пока она тащила его, повеселев, я срочно пустился в себе на поиски хоть каких-то признаков запойного похмелья и с немалым удивлением таковых в себе не обнаружил; общее сотрясение организма после вчерашнего падения с телеги в обнимку с «Камю» по всем обнаруженным мной параметрам ни в чем не превышало допустимой по ГОСТу нормы

для одноразовой, от души, выпивки в хорошей компании и никак не подразумевало неизбежной надобности в своем многократном повторении; и надо сказать, что признал я это, увы, не без досады, и тут же нашёл ей причину, а она проста, и она в том, что, каких бы усилий ни требовал от тебя любой заплыв в аква виту, он неизменно дарит свободу от многих необходимостей, а это, как ни крути, а весома передышка в любой рутине. Но факт есть факт, запой пока не пожаловал, и с досадой на это мы ловко управились, да и с перепугом, пожалуй, тоже, и пил я в компании Багиры этим утром зелёный чай с вареньем и гренками, и тихо дивился чудесам бытия.

И пробило полдень.

**24 декабря, 1991, с полудня до полуночи.**

*За это время Иван с Багирой увидят новые сны и совершат путешествие к статуе Дюка де Ришельё*

— Я прошу прощения, — сказала моя гостья.

Чаепитие вернуло ей цвет в лицо, и можно было без особого риска декларировать, что процесс похорошения стартовал.

— Сама себя не узнаю, — сказала она. — Будто и не я, а не знаю уж кто. Трудным вдруг как-то разом всё сделалось. Почти как невоготу. Я губу вчера раскатала. Да? А вы проснулись, нахмурились, и из меня как воздух вышел. Ужаснулась, что я тут вообще делаю, как сюда угодила, что за глупость, что за мальчишество. Потянуло сбежать. Представляете?

— А говорила, легко всё со мной.

— А вы говорили, что *то* мне так только кажется. Причем опосля. Помните? Вот уже и не показалось.

— Хочешь уехать?

— Вы так шутите?

— Отнюдь.

— Не шутите. Говорю же, прошу прощения. Конвульсия приключилась. Больше не повторится.

— Дуся, трам-та-ра-рам! Ты когда-нибудь перестанешь зарекаться? Или как?

— Перестану.

— Не зарекайся.

— Не буду.

— Вот опять!

— Молчу.

— Конвульсия, говоришь? Ну и чёрт с ней. Проехали.

— Правда?

— Ну а куда деваться?

— Ох. Ну как так, что вы такой, какой не бывает? А? Скажите.

— Ребус, Дуся, да?

— Вы как из снов, как из мифов, как из мечты моей сокровенной. Понимаете?

Я счёл за благо не комментировать.

— А я поняла! — сказала Багира. — Мне то верится, то не верится. Вот в чем подвох.

— Ну ты уж определись.

— Да уже! Вот же. Вас потрогать можно.

— Трогала?

— Когда?

— Пока спал.

Она замялась.



- Ну, гладила. По груди.
- Проказница. А пониже ручкам волю не давала? Не глумилась над беспомощным?
- Она засмеялась, и краски в лице еще прибыло.
- Ни боже ж мой, Иван Александрович! Просто помочь пыталась. Вам несладко было. Зубами скрежетали. Боялась, что поломаете. Словцами крепкими сыпали. Такими, что не все слыхала прежде. Потому и решила, что на войне.
- Спасибо, сестричка. Помощь, думаю, не пропала зря. И за чай спасибо. А гренокв я не вкушал, так уж и не вспомню, сколько. Лет десять, не меньше.
- Угодила?
- Ага. То, что доктор выписал.
- Вы меня опять утешаете? Чтобы я не кисла?
- Почему опять? Я не останавливался.
- Засмеялась.
- И то правда.
- Не дашь соврать?
- Почему? Если надо, дам.
- Я засмеялся.
- Учту. Но пока, вроде, всё по чесноку. Как полагаешь?
- Она кивнула; развела руками.
- Не дам соврать... А скажите, вам совсем до лампочки мой восторг от вашей прозы?
- Да нет. Ни твой и ничей. Как раз хотелось бы, чтоб все восторгались.
- Правда? По вам не скажешь.
- Мерси.
- Камуфляж?

— Невозмутимость, Дуся, аплокиона. Сколько нас нынче на шарике? Где-то шесть? Ну вот миллиард восторженных меня б, Дуся, вполне б устроил.

Над этой сентенцией мы оба помолчали; но я всё ж не удержался:

— И пускай бы, Дуся, каждый прислал бы мне по рублю.

— А бывает тираж такой? Миллиард!

— Так будет. Я ж еще молод. Это тебе кажется, что старик. А на самом деле всё впереди.

Она улыбнулась.

— Ну вот, возвели на бедную девушку смешную напраслину. А вы никогда не унываете?

— Всегда! Только радостно и с кайфом. Я ж сибарит.

— Сибарит?! А как же аплокион в таком случае?

— Ну, Дуся, ну не оставаться же всю жизнь в тени какого-то Антисфена. Прослыву киником-сибаритом.

— Школа будет новая?

— Вот не хотелось бы. Сибарит же! Чего мудохаться?

— Ну меня научите?

— Понятия не имею. Как карта ляжет, Дуся. Что в прикупе?

— Тогда скажу, как дон Хуан велит. Для космоса. Я, Багира Фаллалеева, прошу вас, я вас просто умоляю, господин Южанин, сообразовайте со мной помудохаться, сколько выйдет. А? Как я?

— Так, значит, ты меня, да? А вчерашнее не в счёт?

— Так сами ж говорите, то вчера, а то сегодня. Решила подстраховаться.

— Ну лады. Тогда приступим. К мудоханью.

— Я готова.

— Кто б сомневался? Я для начала на шкуру дрыхнуть до вечера. Раз уж чай, а не водка. Пересплю свои кручины. А для тебя в доме два телевизора, в спальне и у Саньки.

— Я не смотрю.

— Ну, тогда библиотека и свобода передвижения. Дверь никому не открывать.

— Да, мон генераль!

— Вольно, боец!

И я, не снимая фирмы «Рита», завалился на шкуру, и уже отчаливал от яви, когда Багира вернулась сюда и спросила:

— А можно я тоже с вами рядом еще раз?

И я дал ей отмашку. И берег скрылся в розоватой дымке за горизонтом. И пришла ко мне первая любовь из девятого класса, прекрасная дочь Кавказа, и согрела меня взглядом очей огромных, и сетовала с очаровательным акцентом и без упрека на то, что я тогда струсил и не решился принять её даров, и мне было стыдно, и я соглашался с нею, что дал слабину и теперь безутешен вот, а она утешала; и за нею пошли другие, тоже все с глазами лучистыми, но менее сердобольные, и оказалось, что записались на прием двести восемьдесят девять, больше, чем к Казанове, и, выглянув в коридор, я убедился, что так и есть, и попытался сбежать из кабинета через окошко, выпрыгнуть на лужайку позади больницы, благо всего третий этаж, а я, к счастью, обучен, однако ж, увы, окошко забрано было решеткой кованой, и пришлось выслушивать, одну за другой, все обиды горькие и все признанья в любви до гроба,

все упрёки жгучие и все восторги рахат-лукумные, от которых стошнит и не поможет; кто-то скажет, всё лучше, чем сажать самолет на авианосец, а я бы вот не был столь категоричен; и дабы не впасть от своих посетительниц в полный квэкс, я подналёг на задачу и изощрился, и придумал объявить обеденный перерыв, и объявил, и поверили мне, потому как, Слава Богу, на двери кабинета прописан был рукой ангела; и вот прошагал коридором под ртутными лампами сквозь строй ожидающих, в глаза не глядя, и вышел на яркое солнце через главные двери у всех на виду, и больше туда уже не вернулся; но меня догнали вскоре два дюжих санитара на «скорой помощи» и хотели упечь в дурдом за диссидентство с формулировкой «вялотекущая», и я едва отмахался, а, вернее, переломал обоим все четыре руки, что само по себе во сне невидаль та ещё, и как раз на неё, на невидаль, не успел я отдышаться, как прикатил «воронок» с ментами, чтобы закинуть меня в кутузку за тунеядство, и от этих уж я дал деру, так дал, и влетел на всех парах без оглядки в дремучий лес, и проник поглубже в самую чащу, и тогда лишь на шаг перешел; и вышел к Мультугакану, и двинул к верховьям по правому берегу, и повстречал знакомого медведя, и он, старый уже теперь, мне рад был, и мы обглодали с ним на пару над кручей большой куст голубики, а потом двинули к болотцу и взялись там за клюкву; а по дороге болтали о своих приключениях, приключившихся с нами за время разлуки. И с ним же, с медведем, клюквой пресытившись, вышли на берег Зеи в ночи к лесоповалу и там простились, теперь уже навсегда; а я отыскал подходящее бревно и сплавился на нём в быстром тече-

нии вниз до города Зея, а оттуда на перекладных, на грузовике, на автобусе и на поезде с паровозом с трубой с чёрным дымом, как в детстве за мостом на Среднефонтанской, добрался, весь в саже, и до Хабаровска наконец, и поднялся по трапу в самолёт на Москву с посадкой в Красноярске, а в Москве на Киевском сел в родной 24-й, и он тронулся, и застучал всё быстрее по стыкам колёсами, и взгрустнулось мне под стук тот о прожитом, и излили мы там с попутчиками из разных снов, расхриставшись, друг другу печали наскоро; только пил почему-то я всю дорогу только чистую воду в бутылках из-под «Столичной», и в Одессу прибыл, вот, ни в одном глазу; пришагал с вокзала пешком до дома, и вошёл в подъезд и взошёл по шести пролетам; позвонил к себе в дверь, но мне не открыли, и я, поколебавшись, шагнул сквозь дверь, сон же мой, чего тушеваться, и за дверью в прихожей горел тут свет; погасил, и видел всё в темноте, и прошел, как кошка, по коридору и толкнул дверь в библиотеку, и тут у меня на белой в желтоватых подпалинах шкуре ошкуя спала, свернувшись калачиком, Багира в бордовом «Адидасе», и я укрыл её и прилёг рядом, и проснулся. И она действительно спала рядом, тёплая, неизведанная, положив голову мне на плечо. И я с устатку ухнул в сон после долгого путешествия; и во сне вспоминал его на разные лады, качаясь на сладких волнах позабытой задушевности; и снова приснился себе в самолете «ИЛ-69» из Хабаровска на Москву, ещё до посадки в Красноярске, и тут под мерный гул двигателей и мирный сон пассажиров бойкая стюардесса, молодая и ослепительная, и другая, уже повидавшая, но ещё яркая и с пронзительным взгля-

дом, две в одной, позвала, позвали меня к себе на камбуз и, задернув шторку, шторки, присела, присели на корточки с корточками, поддёрнув короткую юбку, синие юбочки, и без долгих проволочек стала, стали угощать меня оральными ласками, обхватив меня, его, смелыми пальчиками с вишнёвым и морковным маникюрами; и то и вправду две в одной, и не понять кто лучше, а то вот и порознь попеременно вдвоём друг за дружкой и на пару разом, и раз за разом, и тогда обе хороши так, что лучше и быть не может; и восемь с половиной километров под ногами, над облаками, делают своё дело, а стюардесса и стюардессы своё, в размывах помады то там, то тут, а я ещё в саже то тут, то там, в штрихах нашей общей импрессии; и вот бы только б успеть бы нам бы, а хорошо б, девушки, а надо бы, пока не начали вот снижаться, а то ж сами ж с вами ж мы на подъём! и гул во мне вырос до гула турбин, а потом мой гул перекрыл его; мы почти успели, поверьте на слово, в новой дружбе, весёлые и упорные, непременно бы уложились в срок, но меня вмиг вынесло, унесло, уложило на шкуру; не уложились. Надо мной блестящие глаза Багиры, глаза в глаза, и она шепнула мне, губы в губы:

— Ну и ну! Вот так да! Ну, даёте, Иван Александрович! Я случайно соприкоснулась. Я не трогала. Правда, да. Абсолютно вот ненароком. Ругать будете?

— Поздно, Дуся. Беги зубы чистить.

Она подхватилась, и была такова, и даже грюкнула чем-то в коридоре.

А тут у меня на шкуре ошкуча среди книг, в их прекрасном обществе, в компании барона на герме и Дара События на люстре с пробкой из-под шампан-

ского, в мягком торшерном полусумраке за плотными шторами время исчезло. Оно всё осталось там, в заоблачных снах, на камбузе в самолёте. Всё там и вытекло.

А здесь не нужно было, смотри, ни во что укладываться, ну, разве что, вот в неделю эту дурацкую, в эти восемь дней, что осталось прожить, — ну, не помирать же, рановато ж, — до конца полоумного года, но это так, не всерьёз, блажь одна; хочешь, успевай что хочешь, хочешь, нет, не хоти, успеется. Из той спешки у нас там заоблачной, сюда оттуда, только гул вот и дотянулся, и, как джинн в бутылку к себе назад, юркнул тут же в меня целиком, в сосуд мой нефритовый, и заполнил собой его до отказа, и гудел в нём, гул тот, гулом всюю; и вот теперь вызволяй его. В этой впадине между мирами, похоже, что и часы прекратили ход. Я стащил с себя фирму «Рита» и уселся на шкуре, привалившись спиной к подушке поверх спальника в скатку, и послал мысленный поцелуй, поцелуи, тем стюардессам, и обеим, и каждой порознь; потрудились девочки, Багире теперь сливки снимать.

Багира воротилась в кошачьей грации напоказ; ступила на шкуру.

— Раздеться?

— Зачем?

— Ну можно хоть куртку сниму?

— Вот еще! Что люди скажут?

Она хохотнула наспех, дабы не отвлечься, и стащила куртку за капюшон через голову, и опустилась на колени, и теперь её глаза были ниже моих. Я погладил ей груди, чтоб не пропадало, и буркнул

какую-то похвалу, типа еще сюда вернемся. А она шепнула мне плотным бархатом:

— Учить будете?

— Да не с руки что-то, — сказал тоже шёпотом.

— В другой раз.

— И как же?

— Бери в рот, — шепнул ей. — И действуй. На свой страх и риск.

— А получится?

— Получится. Тебе осталось совсем чуть-чуть.

— Да?

— Да.

— Вы уверены?

— Уверен, Дуся. Уверен. За тебя уже потрудились.

— Как так? А кто? Вы сами?

— Ну вот ещё! Аэрофлот, Дуся. Две стюардессы в шарфиках.

— Сразу две?

— Да, Дуся. Вдвоём на пару. И хватит болтать.

Она склонилась над твердым и распираемым, и коснулась губами, и обхватила рукой, руками, и ощутила, как гудит джинн внутри, и перевела дух, и, оперев локти в шкуру, обхватила ртом, что смогла, и приступила бережно, не без опаски, к новым для нас с ней трудам нашим; и, освоившись понемногу, через минуту спросила:

— Так хорошо?

— Замечательно!

Она продолжила, ускоряясь.

— Помедленней... И то так, то так... И ручками тоже... Давай ему подышать... И себе... И ему...



И действительно, спусковой механизм на хорошей смазке исправно сработал и сдвинул, подтолкнул изнутри тесноту с распирающим на выход.

— Уже сейчас, милая... Вот сейчас... Сможешь взять? Возьмешь?

— Угу.

— И проглотишь?

Она и тут промычала утвердительно; и под конец я немного помог ей рукой, и извергся по горячему ей в горячий рот, и рыкнул ей в одобрение, и не раз, и не два, и замедлил её, взяв за голову, и остановил.

— Всё, Багира. Всё.

И разомкнул нас. Багира разогнулась, усевшись на пятки, и зажмурилась. Я поцеловал её в губы.

— Для меня не осталось?

Она, глаз не раскрыв, помотала головой и сказала хрипло:

— Пожадничала.

И прокашлялась.

— Ты в порядке?

Она кивнула.

— Спасибо, девушка. Это было прекрасно.

Она раскрыла глаза.

— А вам можно спасибо? Или моветон? Или рассердитесь?

— Говори.

— И вам спасибо, Джованни! Понимаете? Большое такое, мой господин.

— На здоровье!

Она порывисто обняла меня и поцеловала; и поцелуй затянулся, и я отвечал на него, как мог, а названием ему было «а я вот собою довольна, и вам,

дураку, тоже рекомендую». И я безо всякой задней мысли сгреб особу эту, собой довольную, перекатил на спину и оседлал, и прижал к шкуре, уперев ладони ей в прохладные груди.

— Ну что с тобой делать, а?

— А вы не знаете?

— Понятия не имею.

Она тихо, шепотом, засмеялась.

— А интуитивно?

— Не фурычит.

— Как так?

— Дрыхнет.

— Интуиция?

— Ну не я же! Мы с тобой выпались, а она еще не успела.

— Я у вас первая, да?

— Ну вот, догадалась!

— Не знали прежде женщин?

— Бог миловал.

Она снова шепотом засмеялась.

— А хотите научу?

— Чему?

— Что со мной делать.

— Ну, попробуй.

— Разденьте меня.

— Догола?!

— Да, да, догола. Избавьте меня от одежд, господин мой! Стащите с меня шаровары.

Я послушался.

— А теперь что?

Она хихикнула.

— А теперь раздвиньте мне ноги.

— Пошире?

— Ну да, — хихикнула, — пошире. — И сама подтянула колени. — И разглядите меня теперь всю.

— Не украдкой? — спросил я чуть ли не всерьёз.

— Ой, не украдкой! — она засмеялась. — А во все глаза.

— И особенно тут?

— Да, и особенно здесь. Уставьтесь мне сюда. Вкусите меня взглядом твердым.

— Ух, ты! Вот это речи! Вот это зрелище!

— Нравится?

— Не тупить взора, говоришь?

— Да, — хихикнула, — да! Вперьтесь мне сюда, как тигр в ту лань, что себе уже выбрал.

— Ничего себе, Дуся, ты стих оседлала! И что теперь? Вперился, Дуся, вперился, аки тигр голодный. Клыки блестят. Когти чешутся. И что дальше?

Она хихикнула.

— А теперь? А теперь выжидайте. И наливайтесь буйством, вам причитающимся...

— А причитается?

— Так по праву тигра! Ловите момент. И когда будете готовы...

Тут она узрела меня и ойкнула, и выпала из игры.

— Ой! Так уже ж готовы же! Да? — и она, пристав, протянула руку и потрогала, глазам не веря. — А как так вот? Без передышки? Ну даёте!

— После первой не закусываю, — сморозил я, уповая, что, если рассказ не читала, так хоть фильм смотрела про судьбу человека.

— Вот это да! — воскликнула Багира, балансируя между игрой и не игрой.

Она откинулась снова на спину и вернула себе шёпот.

— Так теперь, Джованни, вот этот ваш воткните в мою эту. Понимаете? И пропихните поглубже. Смелее! Не робейте. Так надо. Так звёздам угодно. Делайте поскорее!

Я придвинулся и уткнул ей его в пупок, и Багира охнула, а я подхватил ее под коленкой, а другой рукой взял его и провел им вниз от пупка по шелковистой причёсочке к набухшему апексу и прижал его там пару раз и отстранился.

— Нет, Багира. Не стану сейчас.

— Ну что за дела, Джованни! — сказала она низким бархатным голосом. — Это же измывательство какое-то над живым человеком. Вы мазохист?

— Я аплокион, как ты знаешь. Из сибаритов.

— Хорош сибарит! В таком себе отказывать!

Я предпочел поддразнить её.

— В таком в чём?

— В таком прекрасном... — она замешкалась, подбирая слово, — в таком восхитительном... в таком бесподобном фрукте себе отказали.

— Ты полагаешь? И кем себя мнишь? Манго? Или чем покруче?

Она хотела ответить, но вместо этого вдруг уткнула в лицо ладони и тихо, почти бесшумно, разрыдалась в три ручья.

— Ну вот. Я ж не спорю про фрукт. Просто хотел уточнить.

Багира села рывком, отодвинулась от меня подальше к подушкам в головах и снова уткнула теперь уже не ладони в лицо, а лицо в ладони; и пронзительно всхлипнула.

— Давай поясню, а?

Она не ответила.

— Всё глупость, — сказал я. — Понимаешь? Ну глупость всё. Влюбились, сошлись, разбежались. Одно и то же! Ну, разве ж не глупо? Куда годится?

Ноль ответа.

— А никуда. Ну давай сделаем хоть что-нибудь, что выпадает из этого обихода. А вернее, давай не сделаем хоть что-нибудь, что все делают. Давай?

Молчит; качается, как слон в зоопарке.

— Там результат, дуся, известен. А тут еще посмотреть. Ну давай продедем с тобой хоть одно неделание, ну хоть это. Ну не сразу давай накинемся познавать друг дружку во все места, во всех ракурсах. Ну хоть знать будем, что попытались выскочить из чёртова колеса. Понимаешь? Ну давай помедлим с этим. Ну хотя б для понта! Я вот куда гну, а не тобой манкирую.

Она отняла от лица ладони и глянула на меня, заплаканная, каких свет не видывал, и покачала головой, и пожала плечом, и то ли кивнула, то ли всхлипнула. И я разозлился тут не на шутку. Взвилась во мне злость столбом. На Багиру за то, что рыдает по пустякам и вот затупила на ровном месте, и на себя за то, что вожусь с ней, как малахольный.

— Ты, Дуся, честно рамсы попутала. Ну чего ревьешь, как корова? Чего расхныкалась, башка твоя дурья?

Она пожала плечом, она помотала головой и развела руками, и опять громко всхлипнула. С меня было довольно. Я рывком поднялся и зашагал к двери отсюда в тёмный коридор, оставив за спиной заблудшую эту овечку, лань, козу драную; направил

решительно себя погружаться в ледяную купель, лучшее средство от нервов и ерунды. Но, как прописано в сказках народов мира, совершил и я ту же оплошность: оборотился уже от самой двери, глянул мельком на Багиру; а та со шкуры, где сидела с расставленными ногами, в колени локти уперев, ослепила вдруг наготой и придавила мне горло растерянным взглядом в слезах сверкучих. И со мной приключилось то самое, что и с предыдущими, из легенд и мифов, и саг с кривотолками, где они, мы, за миг до удачи скользнули вдруг сдуру взглядом через плечо; oh, yes, kids, that happened to me right there! вот именно, что happened, именно, чтостряслось; и строгим басом во мне тут озвучилось, чтоб я, умник, мол, тут, мол, не умничал; и не Дар то Событий с люстры пошил меня в клоуны, а кто-то рангом его повыше...

— Больно умный? — сказали мне свысока. — Чего, поц, разумничался?

И упрек враз подмял меня; и обвал мой в горах, яшень-красень, уж как водится, не чета другим... Я вернулся к Багире, схватил за лодыжки и сдёрнул на шкуру навзничь, и набрушился, аки тигр голодный, на ту самую лань, что она же мне и сосватала. Она вскрикнула, а я прорычал ей в лицо, в ухо, в шею:

— Этого хотела, дура? Да? Сама ж пожалеешь!

— Не надо! — вскричала Багира.

— Приспичило, блядь? Этого?

— Ну прошу вас! Ой! Ну нет же! Не надо!

— Поздно, дура! Надо!

Она взвизгнула.

— Ну что вы делаете? Я не хочу так! Не делайте!

— Не хочешь?! Сейчас захочешь!

— Умоляю! Отпустите! Пустите! Иван Александрович! Пустите!

— Ну нет! На! Получай!

Прокачав её наконец, я всадил ей до отказа. Она подо мной так взвизгнула, что комната отозвалась нам разными презвьяками.

— Напоролись, — прорычал я, — за что боролесь? Получай! Получай! Получай!

Она охнула, она ахнула, она взвизгнула, но уже глуше, без резонансов. А я с цепи сорвался и влетел в поток без оглядки, где сомненья не обитают, и трамбовал сей момент бытия, всегда новый, всегда один, здесь и сейчас, и втрамбовывал его в Багиру и в него самого; и мне на зуб попалась её сережка и осталась в зубах, и я выплюнул изумруд на шкуру, а Багира подо мною изгибалась и ёрзала, и заполнила комнату под потолок охами с ахами, с воплями, с визгами, и вскоре не стало в них ни боли, ни страха, а прихлынула сюда во влажном истомном полновесье невыносимая тягость бытия.

— О, боже, — шептала между всплесками, захавшись, — о, боже, погодите, отдышаться, погодите, сознания сейчас лишусь...

Но я не слушался. Я солдатом был ни моим, ни её; я служил моменту — лучшая в мире субординация. Высоту берём, остальное после. А силёнок во мне за год в стойле с лихвой набралось. И Багиру вскоре подо мною стали сотрясать каскады, а потом и каскады пошли каскадами, и продолжалось это уже почти в тишине, лишь под напор дыханий наших жарких, и аж пока мы не выдохлись; сперва она окончательно, а потом и я вслед за нею. Отпустил. Лежали навзничь на шкуре рядом, взмокшие, пере-

водили дух. Долго, еще одну вечность, дух мы переводили.

— А как же? — шепнула она потом, еще не отдышавшись. — А как же вы?

— А что я?

— Ну, вы же не завершили? Да? После всего!

— Должна будешь.

Она тихо засмеялась.

И мы уснули.

А потом проснулись.

— Вы тоже спали?

— Скрывать не стану.

Она засмеялась.

— Часы стоят, — сказал я. — Знаешь, Дуся? Остановились.

— Да, я заметила. Непривычно, да?

— Не то слово. Первый раз с тех пор, как тут обитаю.

— Это знак? Да?

— Надо полагать.

— Добрый знак?

— Я, Дуся, давно себя приучил и тебе рекомендую все знаки трактовать в свою пользу.

Она засмеялась.

— Yes, Sir!

Я поднялся и отыскал под зеленой погашенной лампой на своем столе рядом с пудовым «Мерседесом» свой увесистый «Orient» с хромированным браслетом, приложил к уху; тикает весело. Вот и семь натикало. Утро? Вечер? Какого дня?

— Тоже кажется, — спросила Багира, — что уже утро, да?

— Не кажется.



Багира в розовых тонах сквозь гладкую смуглость, что чуть светлее там, где светлее, оперевшись на локоть, а другую руку возложив на бедро, смотрит пристально мне в глаза своими с поволокой, и что там делает у меня на шкуре? А она там нам возлежит, вот что. И похорошела так, что перекрыты прежние все картинки, тоже яркие, но эта им форы выдаст. Всё тут, как на полотнах старых фламандцев, и живее и вкрадчивей, чем на них, потому что доступнее, руку вот протяни. Похоже, что снова, как вчера, влюбиться тянет? Похоже. Ну и бог с ним, пускай себе тянет.

Я отдёрнул штору. Темно за окном. Опять сыплется шёпотом тёплый снег.

— Вечер. Семь вечера.

— Уверены?

— Absolutely.

— А как знаете? А почему?

— А по «Ориенту».

Я помахал хромированным «котлом», заодно приводя в действие его безотказный самозавод.

— Тут календарь в окошке.

Она засмеялась.

— А ларчик прост! А вы как щедрый Шерлок Холмс. Не стали за нос водить простушку?

— А зачем? Вот оказалось, видишь, что с ней развлекаться иначе можно.

Засмеялась, звука не издав.

— Всё еще сердитесь?

— На что?

— Ну, сами знаете.

— Чтобы сердиться, Багира, причины нужны веские.

— Не сыскались разве?

— В любом случае сердиться это громоздко. У нас не принято.

— Тогда что?

— Просто разозлился. В момент.

— А в чём разница?

— А разница, дуся, в разнице.

— Понятно. По качану?

— Не совсем. Разница, Дуся, в разнице между импульсивностью и спонтанным движением.

— Вы серьёзно? А вот непонятно.

— Импульс, дуся, он внутри тебя, твоё порождение, он от нервов, расшатанных воспитанием. А спонтанность, она дитя момента, его веление, свободна от заморочек. И вверять себя ей, спонтанности, только и подобает мужам достойным. И жёнам праведным. Теперь понятно?

— Теперь понятно. Так и как же всё-таки?

— Что как же?

— Ну, злитесь еще?

— Уже нет.

— Изошло?

— Исчерпалось.

— Точно! Не изошло же, да?

Я кивнул.

— А исчерпалось, дуся. Само себя израсходовало. Ферштейн? Хвала спонтану!

— А есть такое слово?

— Уже.

— Вот здорово!

И Багира зевнула, прикрыв рот ладошкой, и откинулась на спину и сладко потянулась. И я увидел тут нас со стороны, меня голого во весь рост с увесистым в руке «котлом» на самозаводе и её

нагую, на шкуре возлежащую, и в таком антураже беседу нашу про всё и ни о чём, и в любом направлении, и на месте топтанном, и всё это глазом не моргнув и на таком голубом глазу, что представилось, что вот только так всё и может быть; только так оно быть и может. И Дар Событий с люстры не преминул мне поддакнуть, что, мол, и ему с его ракурса мизансцена сия тоже видится не столько пикантной, сколько простодушно очаровательной. Я кивнул ему.

— Возьмёте с собой часы заводить? — спросила Багира, и голос её лениво-контральтовый, по нижним регистрам, этот голос опять вот в Одессе меня держал.

— После гидравлики, Дуся. Тебя что ж, пузырь не давит?

И вот, значит, вечером, в восьмом часу, мы исправно проделали процедуры, утру прописанные, и даже ополоснулись оба под горячим душем.

— А куда мы так несёмся? — спросила Багира, растираясь бордовым, из своих баулов, полотенцем.

— А бог его знает. На всякий случай.

— Вы кого-то ждёте?

— Никогда. Просто вечер, смотрю, неприкаянный. Не врубилась?

Она пожала плечом.

— Бордо твой цвет?

— А разве нет?

— Стихами шпаришь?

— З пэрэляку. А вам не нравится? Бордовый.

— Нравится.

— Вот не прогоните, так и другие представлю на суд ваш строгий.

Я громко вздохнул, но промолчал.

В коридоре она шагнула к двери в Санькину, обернулась и спросила:

— Форма одежды? Или только такая?

И она распахнула на себе полотенце. От её смуглости и абрисов, словно отмытых, от её опять заново новизны, проступившей как на фото в проявителе, и от белых спаниелей на ногах в акцент всему на бордовом фоне, у меня в горло ком прикатил, и спасибо тусклой тут лампочке, что она тут у меня тусклая.

— Срамота! — сказал я тоном восхищенного ценителя. — Форма одежды джинсы в скатку. У тебя там всё есть на кресле. Куда подалась?

— А вот не угадали, — она запахнулась в полотенце. — Не всё.

— Ага! Вылазка за трусами? Свежими и непорочными?

— Вот недобрый вы как-то сегодня, Иван Александрович! Уж простите великодушно. Я мигом.

И Багира толкнула дверь в Санькину комнату, где теперь у меня был склад продовольствия и баулы гости. А я отправился в нашу когда-то с Лидочкой спальню; вернее, она и сейчас всё еще была таковой, только уже без Лидочки; и распахнул там платяной шкаф. Нечастый, прямо скажем, я его теперь посетитель. Давно не тусуюсь. Всё, что надо на каждый день, обычно всё под рукой в библиотеке, рядом с одежкой фрайхерра и туникой бенедиктинца. И вот оглядел я придирчиво свой гардероб. И тут на меня таки накатило вдруг, как из засады; жажнуло спущенным на цепи пудовиком в грудь со всего разгона, аж покачнуло, что чуть не грохнулось; и не

заметил, как стал по привычке на колено, упёрся локтем в другое, склонил башку, дабы резкость в глаза набежала бы, а ушки на макушке, что есть сил, ну! пространство щупать на предмет обнаружения в нём сквозь все шумы с шумами искомого «восемь» (восемь с половиной — для тех, кто шарит), чтоб в тот же миг отодрать колено от ринга, а не то, братцы, «аут!», крах и позор; да, залепило мне осознание, ничего не скажешь, доходчиво. А залепило оно мне вот что: Лидки здесь больше нет, и никогда её здесь больше не будет. Пусто теперь тут в шкафу на вешалке, слева от плотно сдвинутых друг к другу моих прикидов, пусто, хоть плачь, хоть что, так пусто, что выть хочется; пусто-пусто навсегда, до скончания пусто. Во как, брат! А ты думал. И Санька тоже к тебе, папка-папуль, уже не воротится. Так-то, братец. Вот так оно.

Я дух перевёл.

И никто тебе тут считать не станет, сам считай, коли делать нефиг, хоть до тысячи, хоть до тьмы. Ты продул, и вопрос исчерпан. Тебя сделали как мальчишку. Надо б снова это признать.

Всё ещё на одном колене, снова вспомнил, как рано утром два дня тому, там на кухне, перед рассветом, перед тем, как решать вопросы, что соткались из ниоткуда, от Баранова, цирковые, ха! да бедовые, балаганные да братковые, что и Репу сюда призвали, а потом и всю кутерьму, пожелал я Лидке, там и тогда, не тащить с собой весь гармыдер, а собраться в путь по-походному, а оно потом всё подгонится, да притом наилучшим образом, Высший Разум, он же не дремлет, сомневаться же не приходится; а Лидок кивала, ни с чем не спорила, да

и Санька тогда был со мною весь, по всеобщему уговору. Но раздумала Лидка, любовь моя, вот повымела подчистую да туда же Саньку в одну охапку; провела, оставила в дураках.

Проморгался, продрог, встал с колена. И обшарил, всему назло, закоулки аховой пустоты. Обнаружил шлёпанцы Лидкины, что она давно потеряла, невидимку, заколку с ящеркой, саламандрой, не игуаной, зажигалку без газа, одну, другую, и без нитки иголку на всякий случай, пачку смятую «Winston», таблетку белую, уже жёлтую, и пустую коробку от обуви, а в коробке два лепестка, потемневших, но всё ж бордовых, тут когда-то хранилась роза, чью историю можно вспомнить, только лучше не вспоминать. Вот, Южанин, сухой остаток от большого метеорита, что когда-то звездой казался. Порыдай над этим. Когда ещё? Научите, я порыдаю. Да ещё и вас зазову. Вот наплачемся, будет хохма.

И я выбрал из стойла себе на вечер.

Меня армия многому научила, почти всему, а уж про то, чтоб облачиться в любой прикид с проворством фокусника, той опрометью, пока спичка не догорела, так про это и говорить нечего. Багира не обманула и обернулась быстро, не по-женски, а тоже по-военному, но меня всё-таки, хоть и задержал нокдаун в спальне перед шкафом опустошённым, а потом и раскопки сухого остатка, но застала она меня уже тут в кресле под торшером в сером голландском, цвета Жако, костюме в бесподобную тройную полоску, а рубашка на мне под таким пиджаком была тёмно-вишнёвой из плотного жатого шёлка и прошита вдоль серебряной нитью.

Багира ступила в свет из тёмного коридора в одних спаниелях и бордовых трусиках, а в руках держала блузку тёмно-вишнёвую и свитер того же цвета, темнее чуть, а в другой бордовый лифчик. Над таким избытком общей вишнёвости мы поржать тут не преминули. И смеялось мне теперь, после встряски, может, зло слегка, но уверенно; позычнее, чем до неё.

— Надевать? — спросила, помахав лифчиком.

— А что?

— Ну, я не знаю. Может, правила строгие.

Протокол.

— Нету правил.

— Тогда обойдусь. Если вы не против.

— Я, Дуся, за!

Она надела блузку и джинсы, надела свитер. А лифчик брошен был в кресло поверх наших там с ней прежних одежд, среди которых где-то и стринги служивые, что некогда щедро увлажнены, а теперь вот на дембель отправились.

— Или забрать этот ворох отсюда? Унести? Если к вам придут.

— Успеется.

— Да? Сидим? — она умогилась в кресле напротив. — Костюм на вас просто отпад!

Я кивнул.

— У вас других не бывает?

Пожал плечами.

— Вы всё же сердитесь, да?

Покачал головой.

— Ну, или злитесь. Как там правильно?

— Да никак, Багира. Кончай доставать.

— Ну вот. Давайте уже ваш нагоняй поскорее. А то и вправду неприкаянно.

— Да какой нагоняй, Багира? Кому? Нас же тут оба-два.

— Ну я же не полная идиотка. Понимаю же, что напортачила.

— Понимаешь, дуся? И в чём же?

— Ну, сами знаете.

— А ты скажи.

— Ну, соблазнила вас, получается, да? Вопреки вашей воле, вашим видам на нас, так же? Поручила всю стратегию, да? А вы над ней потрудились. А я поручила. Так получается?

— Ох, не стал бы я, Дуся, тут столь категорично рубить бытие на понятности.

Она хихикнула.

— Ох, Дуся, не стал бы я тут кромсать поток слитный на куски говна в проруби.

Она снова хихикнула, хоть и в контральто, но позвончее.

— Ну, сударь мой, кромсай, не кромсай, а нахомутала ж всё-таки? Не отвертисься.

— Да кончай ты, Дуся, искать виноватых. Ракурс не тот.

— Ну, а в зеркале?

— Что в зеркале?

— Ну, в зеркале! Можно там хоть попробовать найти виноватую?

— Так вот в зеркале как раз виноватых не отыскать.

— Почему?

— А потому, Дуся, что в зеркале всё больше дураки обитают. И никого больше.



Она засмеялась.

— Так а что ж тогда? Взятки гладки? Как выходит?

— А выходит тогда, Багира, что вышло как вышло. А раз уж так вышло, так на это воля, значит, та, что повыше, поразлапистой моей, твоей, наших будет, что́ бы, как бы я ни насочинял нам для нас в порывах чистой пассионарности. При всём ко мне нашем с тобой уважении. Мы вот, Дуся, предположили, а нас вот, Дуся, расположили.

— Да уж! — Багира оживилась, переложила в кресле колени туда-сюда. — Расположили! А вы, сударь мой, между прочим, вы господин еще тот себе! Феномён просто. Или фенбмен. А вы знаете?

— Догадываюсь.

— Нет, ну в самом деле, просто непостижимо! Вы согласны?

— За глаза.

— А вот не отшутитесь.

— Интересно. И от чего же?

— От чего? А от того, что я же вас соблазнила, правильно? Вся нараспашку! И что? А то, что вы, Джованни, сударь мой, Иван Александрович, изощрились как-то немыслимо и меня, свою соблазнительницу, прямо хватать-перехватывать и ни дать, ни взять, просто вот изнасиловали дешёво и сердито. Просто феноменально! Вы согласны? Чуть дух не испустила.

— Это оргазм каскадный.

— А я не догадалась!

— Не понравилось?

— Хорошая шутка.

— Ты что мне, Дуся, предъяву лепишь?

— Ну, господин, и юмор у вас сегодня! Прямо скажем.

— Так а в чем сыр-бор?

— Так а нет сыр-бора. Восторги сплошные. Вот. Каскадные.

— Ну и славненько. Положим этот наш первый опыт за нижний уровень утех предстоящих.

Она расхохоталась. По-моему, довольная всем на свете. Что и требовалось доказать, а вернее, и не требовалось.

— А ужинать будем? Что приготовить?

— А давайте, Багира Анзоровна, завеемся с вами куда-нибудь. А? Что-то тут мне прокисло всё.

Она воспряла и вместе с тем, одним махом, и пригорюнилась.

— Намудохались со мной?

В её устах «намудохались» просто перлом перекатилось.

— О, нет! — сказал я. — Это уж не по твоей милости. Можешь даже не сомневаться.

— Рада слышать. А вы что? По вам же не скажешь, а вы вот растерзанный, да? Растерзала вас Лидия?

— Ну, надо полагать. Но не так, чтоб прямо уж. В пределах нормы.

— Хороши у вас нормы!

— Ну, чемпионы ж! Всё. Харэ болтать. Давай, Дуся, в кабак завалимся. Тыщу лет не ходил. Давай?

— Люди добрые! — воскликнула Багира, и я отметил в себе, что встык с таким её восклицанием уже жду по новой привычке, чтобы она в ладоши захлопала. — Люди добрые!

И она захлопала в ладоши.

— Переодеться?

— Кому? Пускай сами переоденутся.

Она засмеялась.

— Какая прелесть! Ну просто Алиса в стране чудес! Подъём?

— По коням!

— А свет не выключаем?

— Пускай погорит.

— А сегодня же Рождество! В Европе. Да?

— Вот, тем более.

В прихожей она сказала:

— А часы не завели!

— Пускай постоят. Пока мы ходим.

— Колдовство?

— Полёт по приборам.

— А что это значит?

И пока мы потеплей одевались, я рассказал своей гостье на скорую руку такую недолгу, что, когда пилотов обучают ночным полетам, то тело поначалу, и потом частенько, сообщает в мозг, что крен, скажем, влево, а приборы говорят, что вправо, и верить надо заставить себя приборам, а не телу родному, а не то беда.

— Вы были летчиком?

— Только во снах.

— Баранов тоже говорит, что часто во сне пилотирует истребитель.

— Ага. На подлете к авианосцу, где палуба меньше ногтя на мизинце.

— Так вы знаете?

— Ну сам же летаю.

Багира засмеялась.

— Как же с вами здорово, Джованни!

Она обняла меня и чмокнула в щеку.

— Дубленка, Дуся, красивая. Очень тебе идёт.

— Правда?

— И унты тоже.

В дверь позвонили. Робко. Коротко. Но звонок-то громкий. Багира вздрогнула.

— Ну вот, — шепнула. — И началось.

— Что?

— Вереница страждущих. Приём на дому.

— Чего так решила? Ясновиденье?

— Сама не знаю. Само ляпнулось. Вы откроете?

— Понятия не имею.

Я открыл.

И там, на пороге, с откинутым капюшоном коротенькой шубейки, припорошенная тающими хлопьями, стояла, раскрасневшись, собственной персоной Анжелика Лазарус из Кишинева с доставкой.

— Это я! — сообщила она. — Так ты дома?!

Я кивнул.

— Оба факта неоспоримы.

Она хихикнула и перешла на шёпот.

— Полдня тебе звоню из всех автоматов. Я в Одессе.

— Да ну? Давно?

Она хихикнула.

— Да не спрашивай, — и снова перешла на шёпот. — Ты один? Не один? У меня к тебе, если что, письмо к тебе, если что, от Шухмана. Ты понял? Пусты переночевать. Буду паинькой. Жена дома?

— Заходи.

Я посторонился.

— О! Здравствуйте! — сказала новая гостья старой.

— Здравствуйте.

— У меня к Ивану письмо от Альберта. И он просил пустить меня на ночлег. Я не очень вас обременю? Одна ночь. Вы Альберта знаете?

— Боюсь, что нет, — сказала Багира и пустила, дуся, коготки. — Всех знаю, а вот Альберта не знаю.

— О! А вы не Лидочка, да? А где Лидочка? А вы кто?

— Я Багира.

— О! Это я вижу, — она хихикнула. — А зовут вас как?

— Багира.

— Вот это да!

— Но меня не зовут. Я сама прихожу. Да, Иван Александрович?

— А меня Анжелика.

— Будем знакомы.

— Тоже, как видим, сама пришла. Да, Иван Александрович!

— Лика, мы в кабак на лыжах. Приглашаю.

— Ой, уволь, Ваня. Намаялась. Потом расскажу. И я пьяна.

— Кто еще не понял? — сказал я. — От тебя дух как на заводе шампанских вин.

— Разведчик! — воскликнула эта дуся. — Да, ребята! Девушка пьяна. В кроватку её! Умоляю, мальчики, девочки, в кроватку!

Пришлось нам скидывать шинелки и укладывать эту дусю в спальне, перестилать там кровать для неё.

— Вот уж точно, — говорила Багира, заправляя свежую простыню. — Свято место пусто не бывает. Да, Джованни? И дня не прошло.

— Ты про себя или про кого?

А Анжелика бормотала:

— Ой, я вас, конечно, стесняюсь. Но природа берёт свое.

Она разделась до трусиков и юркнула под одеяло; и мы подоткнули его по-родительски.

— Спасибо вам, люди добрые. Пусть вас ангелы берегут.

— А ей плохо не будет?

— Поставь ей воды.

— И таз бы не помешал.

— Да, не лишне.

И искомый предмет был доставлен и установлен.

В прихожей Багира спросила:

— А не боитесь одну её оставлять?

— В каком смысле?

— Да во всех.

— Нет, не боюсь. Всё будет хорошо.

— А она кто?

— Анжелика. Она же сказала. А ты не запомнила?

— Уже. И это всё?

— А чего тебе ещё, старче?

— И действительно.

И Багира улыбнулась, и это была самая серьёзная улыбка, какую я видел со времен Гиндукуша.

Снег перестал, и на улице сладко пахло морем зимним, и было тихо и темно, и влажный ветерок в нечастых порывах скрипел фонарями на проводах, а те под шумок болтали из стороны в сторону свои тусклости, отчего тьма по сторонам густела гуще.

— Ух ты! — сказала Багира из-под капюшона. — Одесса. А темно, как в Батуми.

— В Батуми?! Как у Паустовского?  
— Ух ты! А как догадались?  
— Так тоже вот, читал один раз на заре, а помню всю жизнь.  
— Правда? Вот там тьма, да?  
— Угу. Только тогда в Батуме.  
Я нажал на последний звук.  
— Ну конечно! — сказала Багира. — Батум. Я так и сказала.  
— Ну да. Не слышно ж.  
Мы дошагали до угла по липкому снегу выше щиколоток и пересекли наискосок, через трамвайные рельсы, по черному месиву, скользившему под ногами, пустынный перекресток с мертвыми светофорами, и потопали дальше по нечётной стороне.  
— Вы же ноги промочите.  
— Обойдется. Тут недалеко.  
Через полквартала я сказал:  
— Ну как? Всё ж посветлей чуток, чем в Батуме?  
— А с вами, сударь мой, так и там бы не темно было б.  
— Вот не стал бы, Дуся, а вынуждаешь. С тобой, Дуся, тоже. Повеселей, чем без.  
— Подначиваете?  
— А что, скажешь нет? Очень даже весело. Ты не заметила?  
— Ясно, — вздохнула Багира. — А можно вас за руку взять?  
— Ну давай. Но вообще терпеть не могу.  
— Уж потерпите, Джованни, — и засмеялась. — А никто не видит.  
— А вот это без разницы.

И так, взявшись за руки, мы прошагали еще пару кварталов по приставучему снегу и не встретили ни души, и свернули на одну из поперечных, которые у нас тут, если что, так завсегда к морю выведут.

— Ну вот, пришли.

Кабак этот был небольшим и уютным, с хорошей кухней, свойским и еще не заезженным; и музыка тут не гремела. И назывался он остроумно «ИК», понимай, как хочешь; а на самом деле инициалы владельца. Я толкнул симпатичную дверь под старину с золотистым на матовом стекле вензелем, сплетённым из тех самых букв, и мы с Багирой, разомкнув руки, оказались в фойе. И тут, в декоре под рощу дубовую, под сенью её, здесь и сейчас, для начала было шумно и гремела музыка из зала, а в ротанговых креслах за ротанговыми столиками пускали дым столбом краснолицые мужчины в смокингах с краснолицыми, в откровенных нарядах, дамами с громкими голосами. Перед нами вырос швейцар с бычьей шеей, лет двадцати пяти от роду, в тесном кителе с галунами.

— У нас сегодня банкет. Прошу прощения.

— Игоря позови.

— Какого Игоря?

— Того самого, что буква «И» там на вензеле.

— Простите, не понял.

— Хозяина пригласи, пожалуйста.

Парню всё это не понравилось, как, думаю, и любому бы, кто столкнулся с чем-то выше понимания, но порядок действий часового на своём посту он к этому вечеру усвоил.

— А кто, позвольте узнать, его беспокоит?



Ну что ж, за вопрос отлично.

— Южанин.

И дальше всё, как устав велит; просто любо-дорого. Подозвал к себе молодца из гардероба, тоже в униформе, и отправил его нарочным, и тот побежал вверх по дубовой лестнице, ведущей к рабочим апартаментам хозяина.

— Облом? — спросила Багира. Она откинула капюшон и была хороша.

— Рождество, говоришь, в Европе? Вот, прошу, — я обвел рукой фойе. — Европа!

Каушан сбежал по дубовой лестнице вслед за нарочным, пересек фойе и распахнул мне объятия; и поцеловал в обе щеки.

— Старик, сам видишь, полный аншлаг. Здравствуйте, — сказал он Багире.

Она кивнула.

— Ну, хочешь, я вас у себя расположу наверху? Раз такая пьянка.

— Не стоит, Игорёня. Вот блажь пришла посидеть прилюдно. Ну, чтоб и тихо, разумеется. Давно из башни нос не казал.

— Творишь? — он улыбнулся как заговорщик, а заговорщиком он еще тем был. — Нетленку, да?

Я кивнул и этим ему явно потрафил.

— Ай, молодец! — он сладко зажмурился. — Так у меня ж там как раз и тихо. Всё будет, Юг, в лучшем виде.

Я покачал головой.

— Говорю ж, Игореня, на люди потянуло. Истосковался вдруг, блин, по людям.

— Страшно вообразить! — сказал Каушан, и мы рассмеялись.

— По незнакомым, — уточнил я, и мы рассмеялись еще раз.

— Ну в таком случае прошу простить нас великодушно. Всегда рады! Юг. Девушка.

И он собрался обнять меня на прощанье.

— погоди. Куда погнал? А есть в меню осетрина?

— Сейчас выясним.

Пока выясняли, Каушан подвел нас к стойке гардероба, и мы на неё облокотились.

— Не познакомишь?

— Не познакомлю.

Он кивнул Багире, улыбнулся улыбкой великого конспиратора и развел руками. Осетрина в меню была.

— А приготовят нам порций так эдак двенадцать?

— Двенадцать?!

— Ну, хочешь, тринадцать можно. Так приготовят?

Он глянул на часы.

— Так сейчас выясним.

Ну и я вслед за ним на «котёл» глянул. И показывали на нём стрелки, светясь зеленым, всего четверть десятого.

— Сверим часы?

Он хохотнул.

Ответ с кухни пришел утвердительным.

— Так сколько всё-таки?

— Давай тринадцать. Для ровного счета.

Хохотнул.

— С жареной картошкой?

— Угадал.

— Чего угадывать? — сказал он Багире. — Я его двадцать лет знаю.

— О! Вот по старой дружбе и доставь мне это на дом, а? Тут два шага.

— Ну, Юг! Ну куда? Ну, смотри! Ну запару же!

Я посмотрел на запару и на него, а он на меня, задумчиво.

— Ладно, справимся. Пиши адрес.

Он протянул мне визитку, и я на обратной стороне потренировал свой почерк.

— Да, и литровую «Смирновки» приложи сюда, будь добр. И сколько с меня?

Он пробормотал, как положено, что-то про за счёт заведения, но я не повелся, и не только потому, что, понятно, не распознал в его бормотании особого энтузиазма, а просто потому, что полагал, что мне кормиться тут не положено. Пока нам несли счёт, мы, опираясь о стойку гардероба, поболтали о какой-то чепухе, и за это время компания из ротангов почти в полном составе была согнана бодряком-затейником назад в зал к столу, оставив после себя незагашенные окурки в пепельницах и в кресле одного перебравшего и одну ему опекуню; и музыка греметь перестала, и ей на смену, зафонив раз-другой, сюда стал докатывать занудный в микрофон пафос хвалебной здравицы; а Багира молчала, держа меня под руку, и положила голову мне на плечо, что меня, признаться, тяготило, а ресторатора позабавило. После нашего инъяза, где он ходил в круглых отличниках, Игорь Каушан попал сперва в бармены на «Руставели» и проплавал потом по загранкам лет десять с хвостиком, и вырос там в директора ресторана; и на волне перестройки открыл у нас одним из

первых свое заведение, и кабак этот до недавнего времени был хорош во всех смыслах. А тогда, под открытие, Каушан столкнулся со мной в Ялте на набережной; не иначе, как бог послал, сказал он; и я свел его с Максом, и тот взял его под крыло, и вот курирует, что, как мы теперь понимаем, могло бы стать Максиму Репину и не по зубам, ну, а Репа вполне управился.

А сейчас, болтая со мной из вежливости у стойки гардероба, этот тёртый калач уловил во мне, видать, какой-то один из моих диссонансов и, кивнув на двери в зал, сказал вдруг как на духу:

— Будь спок, Юг. Всё под контролем. И Репа в курсе.

— Ну а мне-то что? — сказал я.

Ох, берегитесь, друзья, рестораторов. Они дошли народ.

Принесли счёт, и я выложил. И только Каушан вознамерился облобызать меня на прощанье, как я вспомнил, что чуть не забыл.

— Слушай, Каша! Пардон, что морочу. А выдай мне на дорожку плоскую «Смирновки», а? Я доплачу. Ну и яблоко, я знаю?

— Ну куда ж нам без яблока!

На сей раз он обернулся сам, без выяснений, и, вручая мне искомое, строго сказал:

— Ну всё, Юг, не обижай. Это от заведения.

Я сунул фляжку в карман, а пакет развернул на стойке и взял оттуда два яблока из пяти.

— Караван перегружен. Не взыщи.

А Каушан всё же протянул яблоко Багире.

— Соболаговолите принять, мадемуазель, в знак восхищения красотой вашей.

И умудрился всё же обнять меня на прощанье.

Сладкий воздух на улице порадовал заново.

— Ну что? Душевно мы посидели? Алиса в стране чудес? Умею я водить девушек по значным местам, правда? Что скажешь?

— Вы огорчились?

— Не смейся, Дуся.

— А можно я его сразу съем?

И Багира с хрустом откусила от яблока чуть ли не половину. Мы двинули вниз по улице, пересекли дважды Александровский и тут, на променаде, наконец узрели живых людей: какую-то старушку с какой-то шавкой и двоих при бутылке на заснеженной скамейке; эти честили почём зря Солженицына с Горбачевым, а старушка, воздев клюку, выговаривала им, что не место тут, что простудят вот геморрой, что пускай по домам расходятся, и шавка вторила ей залиvisto.

— И никто про нас ничего не знает, — сказала Багира. — Да?

— Знают, — сказал я. — Просто они не знают.

— Ха! — сказала она. — Не знают, что знают?

— Не знают, что не знают, как знать, чтобы знать.

— Бог ты мой! Песня песней! А куда мы движемся?

— Тпрррууу! — сказал я, и мы остановились. — Чуть не забыл. Представляешь?

Я достал из кармана плоскую «Смирновку» на триста тридцать, свинтил ей шляпу, пожелал Багире успехов в личной жизни и с огромным удовольствием, запрокинув голову с фляжкой, совершил пару-тройку протяжных, вдумчивых глотков. Вот оно! Вот чего мне не хватало все эти дни. И яблоко

вдогонку, хрустнув у меня на зубах, ароматом тут же своим проникло в череп и расправило мне мозги.

— На смотрины, — ответил я Багире на её вопрос и вручил ей второе яблоко, и она им не погнушалась.

— На еще одни? А хотите угадаю? К Дюку идем. Угадала?

— Только сперва к Александр-Сергеичу.

Еще у стойки гардероба я прикинул нехитрый планчик, что, раз уж так, то поймать всё-таки тачку на Карла Маркса и смотаться с Багирой на бульвар. Но до Карла Маркса спуститься мы не успели, потому что сразу за променадом, едва мы с Багирой вгрызлись в яблоки, а в башке у меня просияло, как на противоположной стороне притормозил, вильнув юзом по размазне на брусчатке, грязный «Жигулёнок» цвета грязь, и водила окликнул нас хриплым одессоном.

— И чего ноги портить, молодые люди? А? А в тепле и с ветерком не желаем?

Мы пожелали, и он, совершив натужный, опять же не без заноса, разворот, принял нас на борт. Мы устроились позади, на прикрытом ковром продавленном комфорте, и, побуксовав для порядку, отчалили от бордюра.

— Резина никакая! — поведал он нам с боцманской зычностью. — А бабок шиш!

У него и впрямь было нехолодно, а натоплено, как в поезде на Москву.

— Не кури, браток, а?

— Любой каприз!

Он приоткрыл на ходу дверцу и выкинул папиросу.

— Не куришь?

— Курю. А другим не советую.

Он сипло, душевно хохотнул.

— Вот это правильно! Я так с водкой, командир, поступаю. Сам могу. Еще как! А пьяных терпеть ненавижу. Правильно?

— Не желаешь? — я достал фляжку.

Он обернулся.

— Вот это я понимаю! Я хороших людей за версту вижу.

— Открыть?

— А то! У меня сегодня, люди добрые, сын родился.

— Да вы что! — воскликнула Багира. — В самом деле?!

— А что? В девятнадцать сорок пять. Вы вот первые, кого везу. Ай да почин!

Он обхватил «Смирновку» могучей пятернёй.

— Ты б хоть стал, командир. Хоть бы на светофоре.

— А зачем? Никого ж. Сам видишь. Смотри, как метёт.

Он втянул носом над горлышком и одобрительно хмыкнул.

— Один глоток! — предупредил он строго нас, чтобы мы не сомневались. — Ну, давайте, за моего пацана!

— И за маму, — сказала Багира.

— И за маму!

Про такой глоток мог бы и умолчать, туда обычных пяток бы влезло.

— Благодарю, брат! Держи. Поддержи!

— Как назвали?

— Платоном.

— За Платона!

И этому глотку моему яблоко с хрустом вдонку выправило уже не только мозги, но и под горячую руку всю жизнь целиком.

— Люди дорогие! — подала вдруг Багира голос. — Как же с вами великолепно!

И мы с боцманом от такого признания пустились в добрый, на пару, хохот, да и её с собой в него прихватили.

— Олег, — сказал водила. — А фамилия у меня Заворотиллов. Так-то вот.

— У меня старшего Олегом зовут. А младшего Санькой.

Ляпнул я это и не стал ни о чём таком размышлять. Попечалимся об этом завтра. Привет тебе, Скарлет О'Хара, южанка стойкая!

— Двое? — спросил боцман Заворотиллов. — А у меня первенец.

— Даже так?

— Ну, пацан в смысле. А так две красавицы. Обе замужем.

— А сколько тебе?

— Сорок два. А тебе?

— Та же фигня.

— А не врешь? — он глянул дважды. — Вот не дал бы. Тридцать пять, это максимум. А у меня в роду все, как я. В двадцать восемь седина, а дальше без изменений аж до финиша. Ты б мне сколько определил?

— Ну, полтинник.

— Вот-вот. У нас всем на вид по полтиннику. Отцу вот восемьдесят вот-вот, а за стол усядемся,



поглядишь, ну, ни дать не взять, а четыре брата. Где там батя, где мы, без бутылки не разобрать.

— Это гены, — сказал я и легко простил себе подобное скудоумие.

— Точно! Они, родимые.

— А жена у вас смелая, — сказала Багира. — Как решилась?

— А что жена? Жена новая. Ей девятнадцать.

— Сколько?! Вот это да! Вы слышали? — спросила она меня. — Да вы, Олег, просто какой-то человек, ну, не знаю, Ренессанса!

— Ну, раз вы говорите.

Езда наша была, конечно, не ездой, а мучением с приключением, но от неё, надо видеть, никто ничего толком и не ждал, и потому она даже, в известном смысле, добавляла нам настроения. Переулок Чайковского в себя не допустил, потому что сугробов тут намело по самое удовольствие. Так что к Пушкину первым мы не попали, а дотащились до площади, но и тут, едва лишь свернув от потёмкинцев к бульвару, уперлись в непуганый сугроб.

— Приехали!

— И то дело! А поскучай, брат, без нас тут минуток эдак двадцать пять. Договоримся? Держи, чтоб скучалось веселей.

Я протянул ему червонец.

— Обижаешь, командир. Расчёт по результату. Мы выбрались из жары в холод под снегопад и потопали вниз к бульвару, и притопали, и, обойдя постамент, стали к Дюку лицом, и Багира снова взяла меня за руку. За спиной у нас всеми десятью маршами и всеми двумястами ступенями, без восьми, сбегала под снегом к порту на Приморскую

знаменитая на весь мир лестница, и фонари по всей длине с двух сторон освещали её безлюдье, а за нею, за портом, в черноте моря с небом, проглядывая меж падавших снежинок, слёзно моргали вереницей вразнобой огоньки на рейде. А перед нами над нами стоял бронзовый благодетель.

— Вот, Багира. Раз уж Иерониму Карлу Фридриху фрайхерру фон Мюнхгаузену, мать, представлена была нынче, так и теперь не упустим давай, мать, случая. Давай? Вот. Арман Эммануэль София Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де Шинон, пятый герцог де Ришельё.

— Повтори, — сказала Багира. — Хочу запомнить.

Я повторил, благо с детства выучил.

— А ну я попробую.

Она повторила медленно, с расстановкой. И я повторил ей еще раз, и она снова за мной произнесла уже без заминок.

— Арман, — сказала она, — Эммануэль София Септимани де Виньеро дю Плесси граф де Шинон пятый герцог де Ришельё.

И захлопала в ладоши.

— Вот, дорогой Дюк, — сказал я. — Прошу любить и жаловать.

— А мы уже встречались, — сказала Багира.

— Багира Фаллалеева, — сказал я. — Собственной персоной. Издалека. У меня ночует.

Дюк не стал возражать.

Прежде нас по бульвару проползла снегоуборка; и к Пушкину мы пронеслись почти беспрепятственно, если не считать одного, посреди перегона, затяжного поцелуя в присутствии заваленных сверху

липким снегом и приваленных им же по ногам бульварных скамеек и платана в снегу, о которых в другой раз поэт сказал: «Платан состарился, ко мне ветвей не тянет он; на скáмьях вечна выставка девиц — легки, как бриз, призывны и незаняты, но тяжелы накладностью ресниц». Но то в другой раз. А тут, на безлюдьи, инициатором поцелуя выступил сам слуга ваш покорный, и означал у меня поцелуй этот вот что: «Ах, как здорово, девушка, после перерыва бывает, представьте, глотнуть в снегопад водки холодной». А Багира трактовала его, разумеется, в свою пользу, и я, подстать Дюку, не возражал.

У подножия постамента от граждан Одессы мы осилили три ступени повыше к поэту и задрали головы.

— Вот, Багира. Самый живой из всех бронзовых. Да и живописных. Часами могу тут уставиться в лик его.

— А для меня он на вас похож. И не надо мне за это ничего выговаривать.

— Спас меня, — сказал я. — Когда я вернулся. Так выручил, что не знаю.

— Правда? И как же?

— Онегиным, Дуся. Просто Онегиным.

Мы постояли молча с минуту.

— Спасибо, — сказала Багира и мне, и ему.

— Ну, теперь, командир, — сказал я в жарком нутре Олегу Заворотилкову, — теперь с ветерком показывай. А то мы без ужина.

— Ой! — сказала Багира. — А я и забыла. Не откроет же никто, да?

— Никого зовут Анжелика. Не откроет.

Ехать, как знаем, было недалеко, но долго, а с ветерком так, пожалуй, что и не быстрее, зато увлекательней.

— А первенца надо было всё же Сократом наречь.

— Зачем?

— Ну, по старшинству. А второго уже Платоном.

Он душевно посмеялся по-боцмански и проехался юзом. Поинтересовался, на одессоне, а не ждём ли и мы, случаем, дамы и господа, себе пополнения, и сам же сменил тему другим вопросом:

— К Пушкину наведались? Это я понимаю! И погодка в самый раз. Правильно?

И, поохотав, он запалил нам без подготовки про мы все учились понемногу, и на его одессоне «ученый малый, но! педант» до того смачно пришлепнулись, что Юрскому не тягаться. А Багира сказала «ёлки-палки!» и процитировала про грузчиков в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями Крылова...

— Опасные гастроли! — сказал Олег одобрительно. — Владимир Семенович!

Но воротил себя с еще большим смаком к Евгению, что был глубокий эконоом и верно мог судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет, чего отец понять не мог и земли отдавал в залог. И вот мы стали у бордюра, ровно там, где позавчера ночевал автобус двухэтажный с Багирой внутри и тиграми на бортах.

— Ну и как мне с вас грёши брать? — сказал этот боцман.

— Руками. И побольше. И вот тебе еще тут. Для сугреву.

Я всучил ему фляжку.

— Вот мамой клянусь! — сказал он. — Вот пошлют мне второго, Сократом будет. Вот тебе крест!

— Телеграфируй, друг. Отметим.

— А вы тоже не тушуйтесь.

В подъезде нам навстречу спускался со спортивной сумкой в руках высокий и худой, со скучным выражением, выпускник поварского училища в «Аляске» с откинутым капюшоном.

— А вы не?..

— А мы да.

И он просиял, как не знаю, и зашагал с нами наверх через две ступени. И вскоре, ну, не сразу чтоб так уж, а минут так через двенадцать, потому что сперва мы Багиру высвободили из унтов и дублёнки, а после она уже высвобождала тринадцать порций жареной картошки и столько же осетрины из разнокалиберных с полдюжины судков, что ей любезно подавал из недр сумки юный кулинар, а она с ними бегала на кухню и возвращалась с пустыми, а я, скинув пальто, почти всё это время провозился, стягивая с себя промокшую обувь с мокрыми носками, и наконец управился, и вот на такой манер вскоре гонец от ИКа с выпотрошенной сумкой убыл налегке восвояси с разумными чаевыми и довольной физиономией. И я запер за ним, хмыкнул в зеркало и погасил свет в прихожей.

Багира на кухне, нацепив фартук, в заразительном ажиотаже намывала посуду.

— И куда ж теперь это всё?

На столе, на протёртой до блеска клеёнке в меандрах, красовалось свидетельство исполнения зычных ей из прихожей моих инструкций; они, надо полагать, шли вразрез с мировоззрением гостыи, но претворены были в жизнь, merci beaucoup, неукоснительно, и потому по центру тут возвышался внушительный террикон жареной картошки, а у подножия в кружок были сложены двадцать шесть кусков осетрины штабелями по четыре и один пониже, в два куска. Любо-дорого!

Осетрину я сложил в казан, оставив на столе два штабелька, высокий и низкий, а картошку перевалил в чугунок с кастрюлей, опять же не всю, а определив на глазок предстоящий нам рацион.

— А мы что, съедим шесть кусков?

— Мы — да.

Она кивнула.

— А можно я спрошу вас?

— Ты бросай, Дуся, намывать всё подряд. Две тарелки, две вилки, два ножа. И бегом ужинать со всех ног! Ну, давай, что за вопрос?

— Иван Александрович, вы бандит?

Я расхохотался.

— «Адъютант его превосходительства». Ну один в один! Павел Андреич, а вы шпион?

Она улыбнулась.

— Не, ну а самом деле?

— Бандит, говоришь? Не взяли, Дуся. И не берут. Так что так.

Она покачала головой.

— Чего, Дуся? Я ж не вру никогда.

— Я знаю.

Она вздохнула. А я втопил педаль в полик.

— Всё! Здесь падаем! Туда не дотянем.

И вот еда по тарелкам, а клеёнка протёрта заново, и водка холодная и уже в стакане, а снеди аромат так ноздри щекочет, как молодым.

— Будь! — сказал я Багире. — Ты хороший парень.

И жажнул. И набросился на доставку от ресторатора, и огурчик в доме солёный от Багириных забот тоже пришёлся с хрустом как нельзя кстати.

— Ну как? — спросил с полным ртом, когда на тарелке остался один кусок.

— Очень даже, — ответила, жуя. — Вот же проголодались! А не надо глянуть на вашу гостью? Как она там?

— Уже. Почивает как ангелок.

— Когда ж успели?

— Ловкость рук и проворство ног. И ничего больше. Кроме рук и кроме ног.

Она вздохнула.

— Скажите честно, а вы бабник?

— Павел Андреич, вы шпион?

Она улыбнулась мельком, как, не глядя, муху приклепнула.

— Ну нет, скажите, как есть. Вечный Дон Жуан, да? Я хочу понять.

— Понять хочешь? Захотелось Машке понять, что за мишки, чье варенье она слопала чьими ложками?

Багира плечом подёрнула.

— А процитировать тебе, Дуся, твой буйный монолог вчера поутру вот прямо здесь, где сидишь? Про то, какой, ангел мой, ты мне ангел, Дуся, какая ты мне, Дуся, вся вот во спасение. А?

— Так то про вы да я. А не про третьих.

— Вот оно чего! Как оно, гляди ж ты, вот оно!!!  
Айда теперь, значит, резать, Дуся, жизнь на колбаски, да, как хуй на пятаки? Так понимать?

— Ясно-ясно, — она замахала руками. — Претензии не принимаются.

— Да какие претензии?! Багира! Встала и вышла. И ноль претензий. Зеро, блин.

— Эх-хе-хех... Хорошо ж вы устроились. Да?

— А вот это уже хамство, душа моя. А вот это уже таки да встала и вышла. Повторять не буду. Сколько можно! Уёбывай давай.

— Всё-всё! Сдаюсь! — она постучала ладошкой по столу. — Болевой. Сдаюсь. Я больше не буду. Вот честное пионерское!

— Ну йо-маё!!!

Я вскочил и прошагал взад-вперед по кухне раз двадцать туда-сюда; и это было да, да, было да, было, да, как тигру в клетке из бог знает каких решёток.

— Ну не ё-ма-йо ли! А?

Я налил себе водки и жажнул, и сел к столу закусывать. Она хотела что-то сказать, но я ладонь выставил.

— Молчи! Я тебя сюда не звал. Ни сном, ни духом. Ни в гости, ни замуж, ни в прислуги, ни на блядки. Это, милочка, факт, fuck it! Факт? И давай от него плясать, а не с ног на голову.

— Да, — кивнула башкой склоненной. — Всё верно, — глядя в стол. — Переклинило снова. Пластинка старая, заедает.

И это опять было дежавю с Лидочкой и пластинкой в дырах от иглы.

— Так смени.



- Так уже.
- Не зарекаешься?
- Не зарекаюсь.
- Не отрицаешь?
- Не отрицаю.
- Заходи!

Она рассмеялась, в ладоши хлопнув, и пустила слезу на радостях.

По коридору сомнамбулически прошествовала босиком Анжелика в трусиках и скрылась в туалете.

- Это она? — спросила Багира.
- Нет, конечно. Бабайка какая-то.

Багира поднялась, выглянула в коридор и, дождавшись нового появления, спросила, хоть и в слезах, но уже на бархате:

— Вам помочь? Проводить вас?

А та пробормотала, век не разомкнув:

— Не стоит, добрая девушка. Ступайте к себе.

Вы ангел.

И была такова.

— А она всегда голой шастает?

— Да нет, — сказал я. — Только при тебе. А вообще, если вспомнишь, то тут местность такая.

Я глянул на циферблат «Ориента», и стрелки на нем показали одиннадцать с копейками. Речка движется и не движется.

— Тебе положить еще?

— У меня есть.

Я отвалил себе добавки из казана.

— А не сыщется у вас махонькой рюмочки? Самой махонькой.

— Для кого?

Она засмеялась. И рюмка, разумеется, обнаружилась, не без канители, на полке в библиотеке, припылённая, среди ярких, в разных выпадах, самураев из фарфора; всё никак их Репа у меня не довыцыганит. А напёрсток сей из серебра золоченого на тонкой ножке с инкрустацией в красных камешках и впрямь вмещал конусом не больше напёрстка, и подарен был деду в незапамятные времена, — с детства помню рюмаху эту, — не иначе, как научным сообществом по борьбе с трезвостью, или с пьянством, судя по объему. Под струей из крана от пыли избавили, и вещица засверкала, и Багира, глядя в прозрачную, как слеза, свою капельку в рюмке, прозревая сквозь неё там на донышке истину, сказала:

— Ну как живая! А у вас все вещи в доме живые. Я уже поняла.

— Так они, Дуся, в самом деле живые все.

— Так уже ж поняла.

— Водку, значит, глушить решила?

— А который час?

— Четверть двенадцатого. Ты всегда в это время?

— А я красивая?

— А красивым полагается?

— А я вам нравлюсь?

Я вздохнул. Я кивнул.

— Еще как! И куда клоним?

— А скажите вот безо всякого. А вам понравилось?

Вздыхай, не вздыхай.

— Вот же ё же ж! Понравилось, Дуся. И даже очень. Раз уж безо всякого. А тебе?

— Шутите?

— Я ответил. И ты ответь.

— Ну а что тут? — сказала Багира, подняв глаза на меня. — А скажу вот вам, что такое со мной у меня первый раз со мною, чтобы так вот, за облака, не поверите ж? Угадала?

— Не угадала. Верю. Чего тут не верить?

— А себе цену знаете, да? Потому?

— Не потому.

— А тогда почему?

Я вздохнул и вздохнул.

— Так недавно ж. Не забыл еще, как ты там что да как да куда подо мной летала.

— Ну а вдруг притворялась?

— А вдруг нет? Да и, положила руку на сердце, не вижу разницы.

— Во даете! А чего ж тогда не закончили?

— Разве?

— Ну, не удалось же? Не довели себя до ума.

Я рассмеялся.

— Замечательный эвфемизм! Берём на довольствие. А не довел себя, говоришь, до ума? Так нервишки, Дуся. Так понимай.

Она засмеялась.

— Нервишки?! Опять дурите бедную девушку?

— А вот не скажи. Захлестнут чувствами был через край от вашей, девушка, небывалой пригожести.

— А так бывает?

— Ну вот было ж. И харэ болтать. Водка закипает. Она чокнулась со мной позолоченной рюмочкой.

— За всё, что уже было! — Багира смело глянула мне в глаза. — И хочу, чтоб знали, что хочу ещё. Вот так и знайте!

И мы жажнули. И такого тоста, пожалуй, надо признать, прежде я слышать не слышал.

— Отмолчитесь? — спросила Багира, жуя осетриночку.

— А чего тебе, старче? Живём дальше. Принимаем вызовы.

— Так принимаем всё-таки?

— А куда деваться?

В ладоши она не захлопала, но было видно, что, если чего, то всегда готова. Еще одна пионерка. А мне вот враз всё наскучило. Давних два моих проверенных супостата, тоска со скукою, оба-два, прихватили меня за шкуру, да по-хозяйски, и узреть мне вменили вмиг бренность, значится, бытия и всю тщетность усилий наших на путях в неверлэнды. Мог бы даже предположить, что чуток на радостях перебрал. А можно и гостье вот попенять на свой, значит, устаток по накоплению от хандры ейной протуберанцев. А еще не забыть бы тут простецкую истину, что ничто так не обесточивает земных человек, как собственный, блин, трындёж по поводу и без повода. Хорошо бы вот не забыть бы. Да призвать бы немедля сюда на помощь старину Лао Цзы вместе с осликом, да любимый Дзен, да Иисуса с Доном Хуаном и Сократа с Антисфеном, и царя Итаки, стойкого, где бы ни был, что под стенами Трои, что в скитаниях, ну и Гамлета, разумеется, с графом Рэтландом и бравым солдатиком в Будейовицком его анабасисе, и Тристрамом Шенди, джентльменом, со своими мнениями, — вот призвать бы этих, да подстать этим, да пораскинуть в такой компашке малость мозгами, прикинуть всем что к чему,

проникнуться связью времен и непостижимостью  
всего сущего, да и топать на боковую.

— Забодала вас?

— А у нас коррида?

— Ну а что у нас?

— У нас, дусечка, долгий переход с «вы» на «ты».

Вот что. Разочек тыкнула очаровательно в присут-  
ствии Армана Софии Септимани, и баста?

— А вы заметили?

— Нет, Дуся. В том-то и штука, что не заметил.

Она рассмеялась. И снова жилку из меня  
потянула.

— Разочаровала? И продолжаю?

— Очаровала. И продолжаешь.

Она вздохнула.

— Было очень вкусно. Спасибо. Что-то не так?

— А давай, Дуся, выспимся наконец. Утро  
вечера. Стели себе на диване в гостиной. Там хорошо.  
И спокойной ночи.

— А вы где будете?

— Ай-яй-яй!

— Спокойной ночи, Иван Александрович.

## **День второй.**

**25 декабря, 1991, с полуночи до полудня.**

*За это время Иван с гостями увидят новые сны  
и успеют плотно позавтракать*

Я с удовольствием растянулся на шкуре и  
выдохнул пережитое; и несколько раз его выдохнул.  
Но сон всё же закапризничал, не шагнул ко мне,

